

[Polaris]

С. БЕЛЬСКИЙ



У ПОДНОЖИЯ САЯН

Избранные сочинения

Том III

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CLXXXVII



Salamandra P.V.V.

С. БЕЛЬСКИЙ

У ПОДНОЖИЯ САЯН

Рассказы

Избранные сочинения
Том III

Salamandra P.V.V.

Бельский (Савченко) С. Ф.

У подножия Саян: Рассказы (Избранные сочинения, т. III). – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2016. – 177 с., илл. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CLXXXVII).

В третий том избранных сочинений журналиста, путешественника и писателя-фантаста начала XX в. С. Ф. Бельского включены приключенческие и фантастические рассказы, публиковавшиеся в журнале «Мир приключений» и авторском сборнике «Куда ворон костей не заносил» (1914). Действие большинства из них разворачивается на фоне Сибири и Дальнего Востока.

У ПОДНОЖИЯ САЯН

У П О Д Н О Ж И Я

= С А Я Н Ъ =

РАЗСКАЗЪ

С. Ф. БѢЛЬСКАГО.



I

Доехать от Петрограда до верховьев Енисея и пустынных степей у подножья Саян несравненно труднее, чем совершить путешествие в Алжир или Бразилию.

Неприятная и утомительная часть пути в малодоступную страну древней исчезнувшей цивилизации на южной границе Сибири начинается от Красноярска.

Старый грязный пароход, на котором я ехал в Минусинск, с величайшим трудом подвигался против течения. Случалось, что мы делали в час две или три версты в то время, когда мимо нас с бешеной быстротой неслись к северу обломки разбитых плотов, черные бревна, куски и деревья, вывороченные с корнем. Вся поверхность реки была покрыта стремнинами, водоворотами, глубокими складками и морщинами.

Енисей словно дрожит от напряжения и, с бешенством прорываясь между отвесными скалами, мчится к черной тайге, к безвестным ледяным пучинам полярного моря.

Береговые утесы, сложенные из разноцветных известняков и песчаников, имеют четырехугольные очертания. В легком голубоватом тумане они похожи издали на огромные дома-«небоскребы», окруженные темно-зелеными парками и рощами. Кое-где на отвесных скалах сохранились таинственные надписи, сделанные исчезнувшим народом и еще не прочитанные археологами. Гигантские синие и красные иероглифы тянутся на страшной высоте над уровнем реки и ждут своего Шамполиона, который на этих каменных страницах найдет, быть может, разгадку многих событий, происходивших на заре человеческой истории...

На пятый или шестой день пути по правому берегу реки потянулась выжженная солнцем Абаканская степь-пустыня.

Наконец, когда мы съели на пароходе всю провизию и питались только черным хлебом и консервами, показался Минусинск, — занесенный пылью городишко с бревенчатыми строениями, в котором сосредоточены торговля и управление всем краем, превышающим по пространству Францию.

Мне предстояло еще совершить длинное путешествие на лошадях к предгорьям Саян для осмотра новых переселенческих участков.

Перед отъездом из этого захолустного центра, когда все мои вещи были уложены в тарантас, я вдруг вспомнил о существовании в Минусинске знаменитого музея и, хотя совершенно не интересовался археологией, решил заглянуть в это хранилище енисейских древностей.

Я долго звонил у подъезда двухэтажного кирпичного дома, потом искал сторожа на дворе, на котором в беспорядке лежали каменные плиты с полуистертыми надписями. Наконец дверь была открыта, и я очутился в просторных светлых залах, где ничто не напоминало на первый взгляд о седой древности. Я переходил от одной витрины к другой, — их были сотни, — и рассматривал монеты, оружие, отшлифованные камни и какие-то фигурки из бронзы, меди и железа. Для меня все эти предметы, хранившие историю

тысячелетий, были такими же немymi, как книга на непонятном языке.

На мое счастье, — или несчастье, как читатель увидит — сторож вызвал местного любителя археологии, который готов был целыми часами говорить о чудесных находках и открытиях в енисейских горах и степях. Он был положительно влюблен в древние камни и обладал такими обширными знаниями или такой пылкой фантазией, что по поводу каждой находки создавал целую поэму, действующие лица которой исчезли за тысячи лет до нашего времени.

Не берусь судить о правильности его смелых теорий и передам лишь те выводы этого любителя археологии, которые натолкнули меня впоследствии на мысль предпринять опасное путешествие.

— Очень трудно хотя бы приблизительно определить то время, когда в долине Енисея появился народ, обладавший зачатками культуры, — говорил археолог. — В эпоху Александра Македонского в тех пустынных степях и горных долинах, которые вы видели с палубы парохода, жил уже народ, обладавший весьма высокой цивилизацией. Вы видите эти серебряные и золотые монеты с греческими надписями? Они свидетельствуют о том, что задолго до Р. Хр. население этого края поддерживало торговые сношения с средиземноморскими странами древнего мира. За три-четыре тысячи лет до нашей эры енисейцы находились в сношениях с Египтом и Вавилоном. Вот камень, на котором прекрасно сохранились клинообразные надписи, встречающиеся в развалинах в долинах Тигра и Евфрата. Надпись эта заключает, по-видимому, текст торгового договора, обеспечивающего купцам обоих народов беспоплинную торговлю и охрану их безопасности. Очень часто встречаются огромных размеров плиты, в две-три квадратных сажени, на которых уцелели превосходные изображения ассирийцев и египтян. А на одном таком памятнике, который я видел на склоне Саян, сохранились барельефы, представляющие охоту, встречу гостей и спуск в какие-то пещеры или подземные храмы. Еще до эпохи первых фараонов, по берегам Енисея, — который был тогда вдвое шире, — существовали

поселения культурного народа!

— Но, позвольте, — заметил я, чувствуя, что у меня начинает кружиться голова, — если здесь во времена первых фараонов жил народ, достигший высокой культуры, то, значит, еще ранее долина реки была населена какими-нибудь племенами, постепенно выходившими из первобытного состояния?

— Вот тут мы подходим к неразрешенной пока загадке, — задумчиво ответил археолог, запирая витрину. — Меня она занимает больше всех других вопросов. Первобытный народ, о котором вы говорите, несомненно существовал, может быть, еще в эпоху мамонта и северного носорога. И самое замечательное, что племя это совершенно не походило на тех дикарей, которые бродили в Западной Европе или встречаются в наше время в нетронутых цивилизацией странах. Именно древние енисейцы оставили на отвесных скалах загадочные, никем пока не прочитанные надписи, которым, как я уверен, они намеренно придали форму криптограмм, своего рода ребусов, размещенных, однако, на самых видных местах. Они как будто хотели обратить внимание всех путников на свои иероглифы и в то же время боялись обнаружить их действительный смысл. Ни один народ не прибегал для защиты своих памятников письменности к таким средствам, как древние енисейцы. Все фигуры выдалбливались в твердом камне и заливались каким-то ярким цементом, выдерживающим удары самой твердой стали. Надписи эти, можно сказать, вросли в скалы и исчезнут только вместе с ними.

— Хотите, я покажу вам точное изображение этих таинственных людей?

Мы спустились на площадке лестницы, и там на стене я увидел ряд белоснежных гипсовых масок.

— Слепки эти сделаны в самых древних могильных памятниках, на которых плиты или каменные столбы имели надписи, сходные с теми, какие вы видели на отвесных берегах Енисея. Мы заполнили пустоты в склонах раствором гипса и, когда масса затвердела, получили те изображения, которые вы видите.

Мне казалось каким-то чудом, что я стою в двух шагах от каменного лица человека, от которого меня отделяет целая вечность. Спокойные округленные и добродушные лица. Особенно меня поразила маска одного юноши или девушки, — улыбающееся и прекрасное лицо с мягкими линиями округленного подбородка и высоким лбом; оно совершенно рассеивало привычные представления о том дикаре, который с луком и палицей сражался со своими страшными врагами, населявшими первобытные леса.

— Но самые интересные памятники этого исчезнувшего племени находятся в тех степях, куда вы собираетесь ехать, — продолжал археолог. — На десятки и сотни верст тянутся там заброшенные дороги, отмеченные высокими каменными столбами с такими же надписями, как и на берегах Енисея. Вы увидите эти древнейшие в мире дороги и будете знать о них не меньше, чем я. Может быть, вам удастся даже сделать какие-нибудь неожиданные открытия, — добавил он с улыбкой, когда мы, направляясь к выходу, спустились с лестницы.

II

Усевшись в тарантас, я скоро забыл о всех памятниках древности, так как для неопытного путешественника езда по енисейским степям кажется настоящим подвигом, требующим крепких нервов.

Чем дальше мы подвигались к Саянам, тем суше и бесплоднее становилась почва. Вместо ярких цветов и сочной травы появились колючие кустарники, склоны холмов засеребрились ковылем и полынью. Степь как будто разом постарела и поседела, стала неприветливой и молчаливой. Но зато на юге развернулись и выросли блистающие снежные горы. По их склонам весь день разливалась заря, и казалось, что там, где они поднимались, было вечное спокойное и ясное утро.

Я успел привыкнуть к своему тарантасу. Часто, вместо того, чтобы останавливаться на ночлег в каком-нибудь глухом поселке с черными бревенчатыми избами, мы располагались вечером под открытым небом, вблизи ручья или колодца. Впрочем, и поселки попадались все реже и реже; иногда мы ехали целые дни, не встречая ни одной живой души.

Было что-то величественное и торжественное в безмолвии этой необъятной равнины. Медленно двигалось над ней солнце в пустынном небе, и казалось, что огненному диску надо во много раз больше времени, чтобы дойти от одного конца степи до другого, чем совершить тот же путь над землей, давно покоренной человеком. А ночью, лежа в тарантасе, я по целым часам смотрел на черное небо, и мне казалось, что в первый раз я вижу его таким прекрасным и огромным, с потоками звезд и вихрями серебристой пыли.

Через неделю после начала путешествия, когда мне уже пора было возвращаться обратно, я почувствовал наступление той особенной болезни, которая хорошо знакома всем, кто странствовал в пустынных неисследованных углах земли: лежавшая впереди пустыня начала приобретать для меня непреодолимую притягательную силу; она влекла меня к себе, как магнит притягивает железо. Единственным желанием было подвигаться все дальше и дальше в голубоватую даль, затканную золотыми узорами.

На юге, в блистательной короне снегов, стояли синие и уже совсем близкие горы. Я мог рассмотреть узкие, словно рассеченные ударом меча долины, темно-зеленую щетину первобытного леса и серебряные нити водопадов. Поднималось солнце, степь наливалась золотом, и мы снова до наступления ночи продолжали медленно подвигаться к голубым горам, с трудом прокладывая путь среди песчаных холмов и зарослей колючего кустарника.

III

На девятый день путешествия я увидел в стороне от дороги, — если можно так назвать русло высохшего потока, по дну которого мы подвигались, — высокий каменный столб. Сверху донизу он был покрыт фигурками вроде тех, какие рисуют дети. Монолит поднимался над землей более чем на сажень, но, по-видимому, истинные его размеры были еще значительней, так как в той части степи мелкая серая пыль покрывала всю равнину подобно илу, который из года в год наслаивается в устьях больших рек. Мое внимание привлекла фигурка человека в верхнем ряду знаков, указывающая на целый ряд слегка изогнутых палочек. Я сосчитал эти палочки: сорок шесть. Может быть, эти значки указывают число камней до какого-нибудь важного пункта древней цивилизации?

Мысль эта так сильно меня заинтересовала, что, поднявшись на соседний холм, я начал искать на серо-зеленой равнине продолжение древней дороги. Столбы были и спереди, и сзади меня.

Наудачу я приказал ехать назад и через несколько минут убедился, что догадка моя правильна: на ближайшем столбе находилось сорок семь палочек!

В моих руках находился конец какой-то таинственной нити!..

Я попробовал разбирать знаки, помещенные рядом, но из этой попытки ничего не вышло. Во всю длину столба шла извилистая волнообразная линия, по которой спускались люди и какие-то странные животные, а на верху камня было глубоко вырезано изображение дракона с двумя головами. Я решил продолжать свои исследования и, во что бы то ни стало, добраться до конца дороги. Расстояние между каждыми двумя столбами равнялось приблизительно двум верстам; к полудню следующего дня я мог рассчитывать доехать до того места, где кончались путевые знаки.

Никогда еще не подвигались мы так медленно, как в

эти последние сутки.

Ночевать мы остановились около двадцать шестого камня, под которым я расположился на ворохе ароматной травы.

С вершины Саян дул прохладный ветер; небо закрылось легкими облаками, среди которых быстро бежал яркий серп месяца.

Как только порозовел восток, я разбудил ямщика, и мы снова двинулись в путь к горам, окутанным сиреневым туманом. К восходу солнца мы оказались в обширной равнине, окруженной крутыми холмами, поросшими темно-зеленым лесом. Вдали холмы громоздились друг на друга, поднимались к небу и превращались, наконец, в отвесные стены, на которых там и сям на неприступной высоте белели пятна снега.

Мое волнение все возрастало, и иногда мне хотелось выйти из медленно подвигавшегося тарантаса и бежать по древнему пути, который все ближе и ближе подходил к отвесной стене, замыкавшей долину с юга. Маленькие человечки на камнях указывали только на пять, на четыре, на три знака. Наконец, я отчетливо вижу последний столб и за ним... ничего. Т. е. ничего такого, что смутно заставляло меня спешить в эту неведомую долину. Горы образовали правильный полукруг, серые, поросшие ползучими кустарниками стены почти вертикально поднимались на высоту в двести-триста саженей, где находился широкий уступ, на который могла бы взлететь только птица, а дальше опять ползли к голубому небу дремучие обрывы и морщинистые скалы.

Я подошел к последнему камню, стоявшему в десяти шагах от серо-зеленого утеса, у подножия которого лепились крошечные деревья и уродливые кустарники.

Человечек на верху столба все еще оставался на своем месте и указывал куда-то вниз.

Посмотрев по направлению его руки, я с сильно бьющимся сердцем заметил под утесом черное треугольное отверстие, наполовину скрытое травой и деревьями.

Для того, кто пожелает повторить мое путешествие с целью проникнуть в подземный лабиринт, добавлю, что в течение длинного ряда столетий, протекавших с того дня, когда древние люди поставили свои путевые знаки, вход в пещеру обвалился или был кем-то засыпан; и нора или щель, о которой я только что упомянул, находится правее столба и представляет, так сказать, случайную лазейку, происхождение которой я не берусь объяснить. Может быть, ее проделало какое-нибудь крупное животное, но также возможно, что она выкопана Неизвестным, посетившим пещеру за год или за два до моего прибытия в долину.

IV

Я отыскал в тарантасе карманный электрический фонарь, обмотал вокруг пояса длинную веревку, при помощи которой мы доставали воду из глубоких колодцев и, забыв о всякой осторожности, направился ко входу в подземелье. Мне пришлось ползти на четвереньках, разгребая ногами и руками рыхлую землю, но через две-три сажени я мог выпрямиться, и при слабом свете, проникавшем из ямы, увидел, что стою на вершине крутого холма из песка и камня.

Сделав несколько шагов по осыпающемуся склону, я невольно остановился и в первый раз почувствовал смутное беспокойство. Предо мной было море непроницаемого мрака, из которого не доносился ни один звук. Это было страшное молчание подземных пучин, может быть, еще более глубоких, чем бездны океана. Я зажег свой фонарь, но его голубоватый свет показался мне ничтожной искрой. Он так же мало освещал окружающее пространство, как фосфорическое мерцание какого-нибудь червяка освещает своды леса.

Беспокойный дух исследования толкал меня вперед, и, решив идти до тех пор, пока будет виден бледный луч дневного света, я медленно двинулся в широко разверстую глубь земли.

Дно пещеры было покрыто тонкой коричневой пылью, в которой, как в мягком иле, тонула нога. Повсюду попадались пожелтевшие кости людей и животных, и между ними валялись обломки оружия из железа и камня. Иногда путь мне преграждали огромные глыбы камня, упавшие, по-видимому, со свода пещеры. Осторожно обходя одну из таких скал, я едва не выронил фонарь, наткнувшись на распавшийся скелет какого-то чудовищного животного.

При слабом свете моей лампы я мог рассмотреть ребра, напоминавшие остов барки, и узкий длинный череп, в глазные впадины которого свободно проходила моя рука.

В то время, когда я рассматривал эти гигантские кости, стоя на обломке скалы и высоко подняв фонарь, неожиданно послышался отдаленный рев или гул, от которого как будто всколыхнулся окружающий меня мрак. В этих громовых раскатах была стихийная мощь, но вместе с тем, в них слышался и злобный, и яростный голос живого существа.

Я замер на скале и от ужаса не мог пошевелинуться.

Мощные звуки повторились раз-другой — и снова воцарилась прежняя тишина.

Первым моим побуждением было бежать обратно, к тому светлому треугольнику, который высоко виднелся над подземным кладбищем и соединял меня с внешним миром. Нигде человек не чувствует себя таким слабым и беспомощным, как в том вечном мраке, который наполняет подземную глубину.

Соскользнув с камня, я ожидал повторения испугавшего меня рева, но слышал только биение собственного сердца.

Любопытство еще раз превозмогло страх, и я решил идти вперед. Вероятно, этот странный гул произошел от какого-нибудь обвала и, повторенный эхом, принял оттенок чего-то таинственного.

Через несколько шагов свет моего фонаря упал на красноватую стену, в которой мерцали большие куски слюды и белого кварца. Широкое отверстие с острым сводом, до которого едва достигали лучи лампы, открывало путь в следующую часть подземного лабиринта. Проход этот, по-ви-

димому, был расширен искусственно, так как рядом с ним в беспорядке валялись глыбы камня, носившие следы ударов какими-то железными орудиями.

Бросив прощальный взгляд на бледное пятно дневного света на другом конце пещеры, я пошел по наклонной галерее, служившей подземным продолжением древней дороги. Вместо мягкой пыли тут вся поверхность земли была усеяна осколками твердого камня, нагроможденного местами в поперечные валы, тянувшиеся во всю ширину галереи. В промежутках между валами, как и в первой пещере, встречались кости и обломки оружия; можно было предположить, что эти поперечные заграждения служили когда-то баррикадами, за которыми находились защитники подземного укрепления. Какие ужасные сцены происходили тысячи лет назад в этом извилистом проходе, который, может быть, освещался во время битвы светом костров и факелов?

Больше всего меня поразило, что, по-видимому, в этом сражении принимали участие не только люди, но и животные, какие-то исполинские существа первобытного мира. Их огромные кости, которые я едва мог сдвинуть с места, были перемешаны с распавшимися остовами древних воинов и порой совершенно закрывали проход, так что мне приходилось пробираться, тесно прижимаясь к покатым стенам.

Через четверть часа я дошел до того места, где галерея разветвлялась по трем направлениям. Была еще и четвертая галерея, но она находилась так высоко, что я едва мог рассмотреть смутные очертания ее полукруглого отверстия. Дальше идти было опасно, так как я мог заблудиться в бесчисленных извилинах бесконечного лабиринта. Но стоило ли ехать так далеко для того, чтобы увидеть груду рассыпавшихся костей, занесенное пылью кладбище древнего мира?

Я сел на выступ скалы, поставив рядом с собой фонарь, свет которого казался мне добрым духом, разрушающим злые чары в царстве мрака. В эту минуту я живо представил себе, что надо мной находятся посеребренные снегом вершины Саян, каменный массив в полторы или две версты по

вертикальному направлению. С каким наслаждением очутился бы я в залитой солнцем цветущей равнине! Довольно! Пусть все тайны и загадки древних людей останутся погребенными в этих безмолвных, бесконечных склепах, — я возвращаюсь к солнцу!

Мысли мои были прерваны ударом камня в стену рядом со мной, который, как мне казалось, сорвался с потолка пещеры. Через минуту полетел второй, едва не разбивший фонарь, и на этот раз я прекрасно заметил, что вылетел он из отверстия верхней галереи. Инстинктивно я потушил лампу и в то же мгновение почувствовал сильную боль в ноге, по которой ударил ловко пущенный невидимым врагом осколок гранита. Я отбежал наудачу на несколько шагов в сторону, боясь в темноте идти дальше или возвращаться назад, но камни продолжали падать так метко, как будто бы я находился среди пространства, ярко освещенного солнцем. Совершенно сбитый с толку, я прижался к земле за грудой костей, но камни продолжали снова лететь в мою сторону. Человек или какое-нибудь другое существо, притаившееся в верхней галерее, видело в темноте, и я был в этом мраке совершенно беспомощным в борьбе с ним.

В минуты опасности мы действуем, не сознавая часто причин своих поступков, за нас начинает работать какая-то подсознательная сила, подсказывающая самые быстрые и верные действия.

Я вдруг нажал кнопку электрической лампы и направил яркие лучи прямо на отверстие галереи. Следующий камень перелетал через мою голову и упал далеко сзади. Остальные полетели в противоположную от меня сторону, хотя я стоял рядом со своим маленьким прожектором. Тогда я совершенно не мог понять этого странного явления, но впоследствии, обдумывая подробности своего путешествия, пришел к заключению, что существо, увидевшее меня из верхней галереи, обладало зрением, неспособным выносить яркого света. Оно было слепым, когда я мог отчетливо видеть, и становилось зрячим, когда для меня наступала черная ночь.

Обо всем этом в то время некогда было раздумывать. И я бросился в ближайшую галерею и пустился бежать по ней до следующего разветвления.

Спасаясь от действительного или воображаемого преследования, я еще раз наудачу свернул в извилистую узкую щель и остановился в ее начале, не решаясь двинуться дальше в путанице перекрещивающихся ходов.

Пока я еще хорошо помнил весь пройденный путь, но чувствовал, что еще несколько поворотов — и лабиринт никогда не выпустит меня из своей черной пасти.

Ровный глухой шум доносился откуда-то из противоположного конца прохода и усиливался, когда я прикладывал ухо к стене. Очевидно, где-то близко был водопад или река, прорывающаяся через стремнины. Эти земные звуки вернули мне мужество. Не был ли я напуган собственным воображением, населившим мрак несуществующими опасностями? Правда, у меня сильно болела нога от ушиба камнем, но в темноте легко было ошибиться в определении места, откуда летели эти камни; проще всего было предположить, что они падали, как я и подумал сначала, из какой-нибудь трещины под сводами пещеры.

Я решил добраться до подземного потока, от которого меня, по-видимому, отделяло очень небольшое пространство.

Извилистая галерея, которая, может быть, сама служила когда-то руслом исчезнувшей реки, оказалась очень длинной. Она делала множество крутых поворотов, иногда так суживалась, что я с трудом пробирался между гладкими, словно отшлифованными стенами, и вдруг неожиданно закончилась под низко нависшими сводами новой обширной пещеры. Здесь гул водопада был едва слышен, и меня от реки отделяло как будто еще более значительное пространство, чем раньше. Я не знал, на что решиться; по сторонам от моей щели находилось множество таких же отверстий, которые трудно было отличить друг от друга. Войдя на обратном пути в одно из них, я, наверное, никогда бы не вернулся на землю. Страх заблудиться был так силен, что, отойдя на несколько шагов от высохшего русла древнего

потока, я поспешно вернулся обратно и долго осматривал стены и пол галереи, успокоившись только тогда, когда на одном камне нашел брошенную мной недавно обгоревшую спичку. Я решил для обозначения пути воспользоваться веревкой и, закрепив ее под камнями, начал развешивать ее по дну пещеры. Отойдя саженей на шесть от стены, я увидел на мягком песке отчетливый след человека, обутого в сапоги, подбитые гвоздями. Меня до такой степени поразило это открытие, что я более минуты простоял над глубоким отпечатком на ржавчинно-красной поверхности.

Бросив веревку, я без труда отыскал продолжение следов, уходивших к боковой галерее.

В это мгновение у меня совершенно пропали последние остатки страха, навеянного безмолвным кладбищем первобытного мира. Если пещеру посещают путешественники, то, значит, в ней нет ничего такого, что заставило бы меня отказаться от намерения проникнуть возможно дальше. Там, где прошел один, может пройти и другой. Пожалуй, все мои приключения окончатся самым прозаическим образом, и через несколько минут я столкнусь с шумной компанией, нагруженной корзинами с вином и закусками и отлично знакомой со всеми закоулками этого подземелья.

— Эй! — закричал я. — Слу-шай-те!

Мой голос звучал слабо, глухо и печально, как крик ночной птицы.

— Эй, кто там?! — пугаясь собственного крика, повторил я и прислушался.

Единственным ответом был не умолкавший ни на минуту глухой шум реки.

— Должно быть, он ушел слишком далеко, — сказал я вслух и, подняв фонарь, пошел в ту сторону, куда направлялись следы. Они быстро привели меня в такую путаницу галерей, проходов и щелей, находившихся на различной высоте и немедленно рассыпавшихся на новые извилистые пути, что эту часть пещеры я могу сравнить лишь с куском гнилого дерева, источенного и изъеденного червями.



Он лежал в неестественной позе...

К моему счастью, земля повсюду была покрыта мелким песком, на котором отчетливо выступали следы, оставленные Неизвестным, и я без риска мог продолжать идти за ним в самые отдаленные закоулки лабиринта.

Сделав десяток поворотов, я, к своему удивлению, очутился в той самой пещере, из которой начал свое преследование, и узнал об этом, задев ногою за протянутую мною веревку.

Человек, за которым я шел, по-видимому, не подозревал, что он кружится вокруг этой центральной залы, так как решительно пересек ее в новом направлении и удалился в низкую галерею, вход в которую наполовину скрывала пирамидальная скала.

У меня мелькнуло подозрение, что он безнадежно заблудился и, сам о том не зная, кружится в бесконечной путанице подземных трещин, как это случается с путниками, застигнутыми метелью или странствующими среди непроходимых туманов.

Чтобы проверить свою догадку, я пошел вдоль стены, внимательно осматривая песок перед каждым отверстием, и скоро снова увидел отчетливые следы моего несчастного товарища рядом с узкой расселиной, из которой очень явно слышен гул водопада. В этом месте несчастный будто колебался, — он направился в одну, потом в другую сторону, вернулся обратно и, наконец, пошел в самый дальний, глухой конец пещеры, загроможденный обломками скал.

Мои глаза успели привыкнуть к темноте и, как бы ни был слаб свет фонаря, я мог рассмотреть, что в этом месте нет никакого прохода. Своды подземелья спускались к самому полу, и я напрасно освещал их то выше, то ниже, надеясь найти хоть какое-нибудь отверстие. Но куда же исчез человек?

— Выходите! — сказал я. — Вам нечего меня бояться!

Молчание.

Я вздрогнул и, точно мною двигала какая-то посторонняя сила, заглянул за камни. Он лежал там в неестественной позе, с широко раскинутыми ногами и руками.

Вследствие необычайной сухости воздуха, труп прекрасно сохранился. Кожа стала коричневой, сморщилась, но мне казалось, что на лице Неизвестного застыло выражение испуга, удивления или отвращения. Около него лежали измятый разбитый фонарь и кожаная сумка с широкими ремнями. Шагах в трех от трупа я увидел за камнем как будто намеренно заброшенную туда раскрытую записную книжку.

Я поднял записную книжку и поспешил отвернуться от страшного лица трупа.

Единственной моей мыслью в эту минуту было поскорее выбраться из царства мрака, где, может быть, и меня ждала такая же участь.

Не оглядываясь, я побежал с такой быстротой, что, казалось, в несколько минут должен был достигнуть конца галереи, как вдруг за одним поворотом меня поразил сильный шум водопада. Клокочущая масса воды низвергалась где-то за стеной, и от ее падения дрожали скалы.

Я слишком поздно понял, что, понадеявшись на свою память и забыв о протянутой мною веревке, попал в одну из тех галерей, которые еще глубже уходили в подземные пропасти. Предо мной, как живое, встало высохшее лицо трупа, распростертого на песке. Еще одна, две таких ошибки, и меня ждет та же участь: я буду целыми часами странствовать в этом каменном склепе, пока голод и усталость не лишат меня сил, и тогда придет неизбежное...

Я сделал несколько шагов по галерее и, направив вперед и вниз свет лампы, увидел, что стою на берегу широкой черной реки, покрытой клочьями пены. Вода бросалась в береговые утесы, поднималась высокими буграми, клочкотала, как в котле и весь поток походил на разъяренное дикое животное, которое бешено мечется в тесной клетке.

Противоположного берега я не видел, сколько ни напрягал зрение. Но прямо передо мной был большой остров причудливой формы. Отвесная скала заканчивалась горбатым холмом с какими-то остриями на гребне, похожими на гигантские копыя. Фантастический камень весь был покрыт зеленоватыми выпуклыми щитами, по которым сколь-

зил свет моей лампы. Я направил ее лучи к острому концу скалы — и в то же мгновение весь холм зашевелился, вырос. Черные шипы на его гребне приподнялись, вытянулась чешуйчатая лапа и, разметав высокий столб брызг и пены, оживший холм исчез среди крутящихся водоворотов и черных волн.

В эту минуту я понял весь смысл выражения «окаменеть от ужаса»: я не мог сделать ни одного движения, хотя все мои чувства были напряжены и обострены до высочайшей степени, так что я разом замечал то, что происходило и на реке, и на берегу. Не знаю, сколько времени продолжалось такое состояние; наконец, сделав над собой огромное усилие, я медленно пошел назад, чувствуя непобедимую слабость в ногах и во всем теле.

Мне казалось, что прошла целая вечность с того момента, когда я переступил вход в царство мрака; но выйдя из пещеры, я убедился, что находился под землей только два с половиной часа.

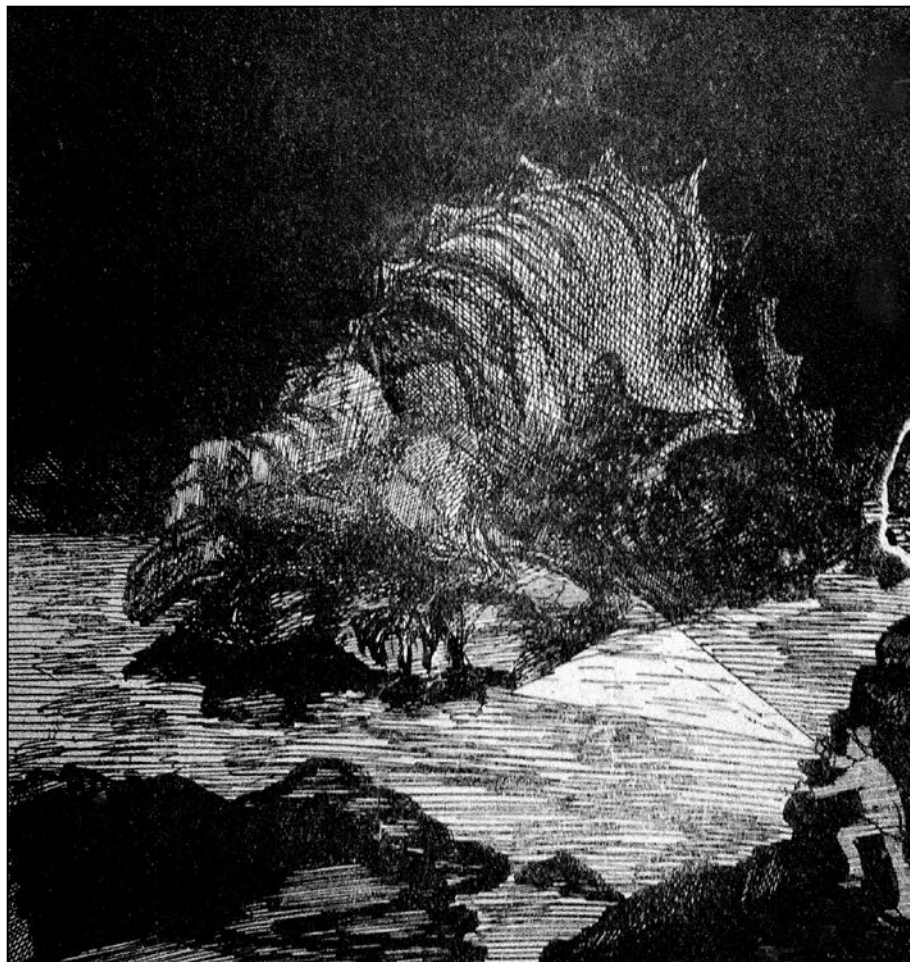
Очутившись в цветущей долине между отрогами Саян, я долго еще не мог вернуться к действительности.

Записки Неизвестного, оставшиеся у меня в руках — единственное свидетельство, проливающее некоторый свет на мир, затерянный в недоступных глубинах нашей планеты. В этих отрывочных строчках я не изменил ни одного слова.

V

Записки Неизвестного

«Боже мой... ум не выдержит всего того, что я видел в последние одиннадцать дней, с того момента, когда пере-



Я направил лучи лампы к концу скалы...

ступил вход в это море мрака. Я потерял всякую надежду выбраться отсюда; фонарь мой разбит; эти строки я пишу, зажигая последние восковые спички. О! если бы мне снова увидеть солнце!

Буду говорить только о самом важном для других, кто сюда придет. Самый удобный путь лежит по берегу реки, но нельзя пользоваться лодкой, так как ниже водопада поток кишит гигантскими ящерами. Я догадываюсь, что в нем где-то живет то самое страшное, чего так боится древнее население этого подземного мира... Лучшим оружием здесь служит яркий свет, который ослепляет и людей, и животных. По берегу реки я шел два дня, и все время за мной следовали люди мрака, называющие себя омотама. Я боялся спать, пока не узнал, что они избегают показываться в освещенном пространстве.

На третий день я дошел до границы области мрака. Тут находится огромная стена, преграждающая все галереи, но следует проходить через отверстия, сделанные в ней людьми мрака.

В глубине земли источниками света являются камни и металлы, может быть, содержащие радий или какое-нибудь фосфоресцирующее вещество. В долине за стеной свет постепенно усиливается и вдали походит на зарево огромного пожара. Нет ли там вулкана? Я не могу ответить на этот вопрос, так как видел долину только с ее отдаленной окраины. У меня не было средств перебраться через пропасть, куда падает река. Не знаю, как переправляются туда дикие племена омотама, которые ведут постоянную войну с населением долины света. Там существуют обширные города, с строениями без крыш, храмами и какими-то странными сооружениями, может быть, служащими для технических целей. С того холма, где я находился, можно было различить какие-то растения, испускавшие слабый свет и отдаленно напоминавшие наши грибы и гигантский мох.

Мне надо было спешить обратно, так как я подвергался опасности быть убитым дикарями, подстерегавшими меня около стены. Фонарь был разбит ударом камня. Дальше шел по берегу реки впотьмах; абсолютного мрака в подземных

глубинах нет и, когда глаза привыкают к темноте, можно видеть слабый свет, испускаемый скалами и некоторыми камнями. Заблудился в конце пути. Знаю, что где-то близко спасение, но не могу найти выход. Часто слышу захлебывающийся рев, который больше всего пугает и людей мрака.

Они совершенно оставили меня в покое и удалились куда-то в другие части пещеры. Какое ужасное чудовище живет в этих глубинах!.. Кажется, я видел его издали... Я ослабел; больше идти не в силах...»

Дальше в записной книжке содержатся бессвязные слова, которые едва можно разобрать:

«Здесь грозит страшная неотвратимая опасность... Не спускайтесь сюда. Боже, какой ужас!..»

На этих загадочных словах записки обрываются. Я не желаю строить никаких гипотез, но позволю себе сделать только одно предположение. По-моему, население подземных глубин образовалось из потомков древнейших племен, которые, тысячи лет тому назад, были оттеснены своими врагами в долину Саян, ко входу в это царство мрака. Может быть, оставленные ими на берегах Енисея надписи имели целью указать последующим поколениям на путь в те недоступные убежища, где искал спасения несчастный побежденный народ.

Впрочем, пусть об этом судят сами читатели, и в особенности те, которые обладают более обширными знаниями древнейшей истории человечества, чем автор рассказа.

**КУДА ВОРОН КОСТЕЙ
НЕ ЗАНОСИЛ**

С. Бѣльскій.

Куда ворохъ костей === же захосилъ.

Двое.— Тамъ, гдѣ шумитъ океанъ.—
Золотая долина. — Корабль мерт-
выхъ.— Особенный вкусъ страны.—
Нѣмая волны.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія т-ва „Общественная Польза“, В. Подъячская, 39.
1914.

ДВОЕ

Пароход «Мария» много дней блуждал в тумане, который несся за нами с севера над пустынным, злобно ревущим Охотским морем. В полдень проглядывало солнце, утомленное, тусклое и его печальные бледные лучи скользили по черной воде, глубоко вспаханной для невидимого сеятеля исполинскими плутами, которые шли по слабо изгибающимся линиям от берегов Сибири к Алеутским островам. И тогда с палубы «Марии», заваленной бочками, ящиками с рыбой, досками, канатами и сетями, мы видели, как за нами, закрывая половину неба, бесшумно двигались туманные птицы, похожие на пингвинов с широкими распростертыми крыльями, шли призрачные бледно-синие великаны в мехах, по пояс погруженные в холодное море; чья-то рука, протянувшаяся из облаков, тащила сани, на вторых лежал кит со змеиной головой.

Туманные призраки оттеняли друг друга, постоянно меняли форму и очертания и, обгоняя друг друга, спешили к югу, появляясь то справа, то слева.

Когда мы подходили к берегу, туманы рассаживались на высоких береговых горах и, опустив в океан ноги, внимательно следили за маленькой черной «Марией».

От постоянной толчеи на поверхности воды кружилась голова, хотелось уйти в каюту, лежать с закрытыми глазами на твердом кожаном диване, представляя себе прочную вечную землю, полосы несжатой ржи, пыльный проселок, убегающий неведомо куда, золотистый загар летнего вечера.

Но в каюте стоял тяжелый запах соленой рыбы, слышно было, как мучительно стонет и скрипит корпус «Марии», мысль невольно переходила к той бездне в черных отсветах, которая была тут, рядом с этим вытертым диваном, отделенная от него тонкой деревянной стеной.

По скользкой решетчатой лестнице, удерживаясь за жирные, грязные поручни, поднимаешься на палубу и опять

видишь ту же черную воду в глубоких, злобно шипящих бороздах, за кормой — процессию белых туманов и за ними — на бледном небе отсветы первых льдов.

Два раза «Мария» пыталась подойти к берегу на глухие стоянки, чтобы забрать рыбаков, и оба раза нам мешали ветер и прибой. В подзорную трубу с капитанского мостика я видел, как под черными скалами, под которыми пенилась вода, заглушая голоса и крики с берега, бегали люди, таща с собой мешки и узлы, сдвигали лодки, которые океан сейчас же выплевывал на песок или выхватывал из рук, как голодный зверь кусок мяса, радостно кружил их в седых водоворотках, бил о скалы и глотал щепки, ящики, бочки и пеструю рухлядь.

Мы ничем не могли помочь, потому что пароход то и дело срывался с якоря и машина едва справлялась с волнами и ветром, гнавшими нас в черные челюсти, через которые плескался океан.

Наш пароход был последним в эту осень и для людей на берегу вместе с «Марией» исчезала всякая надежда выбраться до зимы из каменной, окружавшей их пустыни.

Отчаяние сводило их с ума. Они бежали вдоль берега, бросались к волнам, которые валили их с ног и, наконец, сбившись в кучку на каком-нибудь камне, махали нам шарфами, платками, становились на колени, грозили кулаками. Ни одно слово до нас не долетало. Все происходило так же бесшумно, как среди туманов, которые с седого моря, с горных вершин смотрели на палубу «Марии», на деревянные кособокие домишки, на мечущихся в отчаянии людей.

В третий раз нам удалось подойти к берегу. Мы проскользнули в узком проходе, сорвав несколько досок с обшивки и потеряв якорь. Вдогонку океан послал нам высокую волну, которая разбилась за кормой, окатив ледяной водой всю палубу.

По хрустящему песку выбрались мы из лодки на крутой берег, затянутый сеткой мелкого дождя, и, когда я одним взглядом окинул воду и землю, сердце мое сжалось от тоски и сожаления к тем, кто жил здесь долгие месяцы.

Солнце, казалось, никогда не освещало этот берег; на нем не было жизни, движения, красок.

Внизу грохотал океан, сегодня, как вчера, как тысячи лет назад. Ровный и протяжный гул наполнял воздух, не позволяя ни на минуту забыть о том, что за скалами расстилается древнее седое море, без грез, без красочных вымыслов, зовущих, манящих далее; без того *другого* берега, который чудится вдали и на котором нас всегда ждет новое счастье.

С темных гребней изгибистых волн на меня смотрело безглазое лицо каменного идола, жестокое и мертвенное, с едва заметной злой усмешкой в складках тупого рта.

— Нигде нет ничего! — грохотал океан. — Там, вдали, только туманы, холодный блеск звезд, темные бездны и волны над ними!

Берег за скалами был плоский, без травы и кустарников, усыпанный мелкими, острыми камнями. В глубине дремучей стеной, без изгибов, как сруб заброшенного дома, поднимались какие-то неведомые горы и на них лежали мертвенно-бледные туманы.

В поселке было три дома, обращенных окнами к океану. Доски в стенах и крышах прогнили и рассыпались их труху. Ветер сорвал с петель двери, повалил трубы и смел песок в длинные изгибистые гряды, похожие на гигантские буквы, начертанные на клочке земли между береговыми скалами и заброшенными строениями. Людей не было; они не дождались парохода и, боясь наступления зимы, бежали от океана через горы и теперь блуждали среди болот, заполнивших до краев глубокие впадины пустыни.

На полу, на столах и скамьях были разбросаны пустые жестянки, бутылки, лохмотья, сети, еще сохранившие запах соленой воды, раскрытые сундуки и ящики с оторванными петлями и замками. В крайнем доме от берега на стене висела большая широкая доска, на которой было написано белой краской:

«Уходим, потому что боимся умереть, не знаем, дойдем ли. Ефима Горлова похоронили на горе, но

он сказал, что пойдет за нами, больше писать нечего, прощайте.

Андрей Тихов и товарищи».

Мы с капитаном долго разбирали эту надпись, в которой строчки путались, будто лепились одна на другую, видно было, что писавшему стоило немало усилий уместить на доске все то, что он хотел сказать. Последним словам не хватило места и они растянулись по стеке между окном и дверью. Как ни было утрюмо и тоскливо на берегу, но после двух недель, проведенных на пароходе, твердая земля казалась лучше палубы, и поэтому я и капитан остались на ночь в доме, из окон которого виден был угол залива, в который через морщинистые камни с воем и визгом ломился пьяный и буйный океан, испуганный своими белыми видениями.

Мы сидели на опрокинутых ящиках за столом, срубленным из досок, долго служившими подводной обшивкой какого-то судна. Они были изъедены морскими червями и казались украшенными затейливой резьбой, на которой переплетались виноградные листья, сучья и веревки, связанные в узлы.

Мы пили горячий чай с коньяком, курили, смотрели на голые стены, освещенные двумя свечами, и думали каждый о своем.

Стекла в гнилых рамах дрожали под напором ветра. Сорванная с петель и плохо прилаженная дверь стучала и рвалась с удерживающих ее веревок; иногда она с грохотом летела куда-то в темноту; в комнату врывался ветер, обдавал нас солеными брызгами и торопливо перебрасывался из угла в угол между наваленными в беспорядке ящиками. Свечи тухли; в темноте было слышно, как матрос-хохол Федорчук кого-то ругает и с кем-то борется, прикрываясь дверью, словно щитом. Капитан зажигал свечи и мы опять сидели молча, стараясь забыть, что кругом нас, за стенами, на которых такие знакомые приветливые тени, распахнута безграничная пустыня с голыми камнями, печальные туманы над волнами и волны над бездной, голодной и жадной.

— Там была такая же комната и мы так же сидели, как сидим теперь, — сказал капитан продолжая какую-то свою начатую мысль. — Что с ними случилось — как ты думаешь?

— С кем? — спросил я, удивленный и неожиданным вопросом, и обращением на «ты».

Капитан засмеялся.

— У меня привычка разговаривать с братом, — сказал он. — Моего брата я не видел лет пятнадцать, он все собирался приехать сюда, пока ему не помешала смерть. В этих северных морях заедает тоска, скука, постоянное одиночество и, чтобы не молчать, я с ним разговариваю. Понимаете?

Я молча кивнул головой.

— Сейчас я вспомнил один случай, непонятный, как многое тут, среди льдов, толчеи волн, карусели бурь и течений, которые вращаются от Берингова пролива до Японии.

Капитан говорил медленно и тихо. У него было широкое, мужицкое лицо с добрыми карими глазами, в которых светилась та тоска по далекому, то спокойное и вечное устремление в даль, какое бывает у странников, у богомольцев, бродяг, у той святой Руси, что, непонятная и чуждая всему, идет в поисках новой неземной правды по мягким степным проселкам, по дикой бездорожной тайге, по берегам северных морей, среди болот и каменных россыпей. Ищет, чему поклониться, не находит и мучительно никнет, гибнет, неразгаданная, печально-прекрасная.

Мне он казался больше поэтом, чем капитаном, и я уверен, что в его каюте где-нибудь хранился альбом со стихами, которому капитан отдавал больше внимания, чем грузам «Марии».

— Тогда мы шли из Владивостока, — рассказывал он, умолкая, когда шум ветра и океана заглушал его голос. — Классных пассажиров было только двое, — муж и жена Изергины. Ехали они на рыбацье становище и вслух мечтали о жизни и работе в этой пустыне. Мне, говоря по правде, было неприятно слышать их лепет, который, как я это хорошо знал, скоро заглушит голодный вой океана на том берегу, где они собирались жить. Но что прикажете делать

с людьми, которые видели только большие города, начитались заманчивых рассказов, влюблены друг в друга до такой степени, что светятся от этой любви, от счастья быть вместе, вдвоем смотреть на волны, вдвоем читать, говорить и думать, как один человек.

Они пробовали скрыть от меня свою любовь, отодвигались друг от друга, когда я проходил мимо них, придавали лицам равнодушное, скучающее выражение, но все это было так же смешно, как если бы я попробовал спрятать свою «Марию» на поверхности крошечного залива. Они скоро это поняли и перестали прятаться. Кажется, они немножко жалели меня, и я представлялся им чем-то вроде обломка дерева, который без цели носится по поверхности моря, пока его не разобьет в щепы какая-нибудь шальная волна и не проглотит под никому не ведомыми утесами. За обедом она была хозяйкой и предупредительно клала мне и мужу лучшие куски, чистила фрукты, подливала вино и, так как эта девочка — по росту и фигуре она казалась девочкой — не умела скрыть ни одной мысли, то, хотя я и не привык к женскому обществу, все же ясно читал на ее лице и в больших серых глазах постоянно одну и ту же мысль:

— Стыдно быть такими счастливыми, жить при свете и блеске солнца рядом с этим одиноким капитаном, который половину дня торчит на мостике, а другую половину валяется на диване в своей каюте и находит единственное утешение в коньяке и вине.

Ее муж заводил со мной и с моим помощником разговоры о неисчерпаемых богатствах севера, о недостатке предприимчивых людей, о скрытых миллионах и миллиардах, за которыми никто не хочет пойти и которые, по его словам, были рассыпаны по всем этим берегам, в море и в глубине материка. Я не спорил! Этот молодой человек имел, по моему мнению, единственное сокровище — свою жену, которая стоила всех его сказочных миллионов.

А его планы... Но Боже мой! кто знает, что ждет человека здесь, где часто на тысячи верст нет никого, кто услышал бы его голос, плач и жалобы. Я не возражал, потому что не хотел раздражать их обоих. Она представляла себе

жизнь на рыбацьем становище, на берегу Охотского моря, чем-то вроде рождественских праздников. Приходит вечер. За окном ветер рассказывает длинную сказку, ему вторит ласковый старый океан... Эта маленькая глупая женщина представляла себе океан похожим на деда Наумыча, который у них дома где-то в Киевской губернии сидел на пасеке. — Лицо в мелких морщинах, руки мягкие и теплые, белые волосы треплет ветер, а в руках шапка с ароматными, прогретыми в траве яблоками, и чашка с медом, в котором растворился солнечный свет. Ну так вот, этот океан, похожий на Наумыча, ласково ходит под скалами, пока они сидят и празднуют свой вечный праздник, и вместе с ними болтает всякий вздор и смеется от счастья. Все это было глупо, но я молчал. В конце концов, какое мне до всего этого дело? Пусть едут, если хотят ехать! Я должен доставить их до Белого залива, высадить на берег с шестью рабочими, свезти пятьсот сорок пудов груза, — и прощайте! может быть, навсегда. Не так ли? Иногда, когда она сидела на палубе, ласково улыбаясь своими искрящимися глазами, в которых было больше света, чем на всем океане, и перебирала розовыми пальчиками кружева, какие-то ленточки, бантики, прошивки, куски батиста, которые она готовила для своего будущего ребенка, мне хотелось, чтобы море загрохотало, загремело всеми своими трубами, и туманы и волны начали свою бешеную пляску, но, как назло, океан позолотил свои синеватые дали, которые стали похожи на старенький иконостас сельской церкви, спрятал седые космы и притворился тихим и грустным.

Я-то знал все его уловки и отлично видел, что он лжет всеми своими сияниями и позолотой, но бедная женщина и ее муж все принимали за чистую монету. Только и слышишь:

— Смотри, Надя, какая волна, голубая в золоте!..

— Скорее иди сюда! за кормой на море белые птицы, точно пруд с лебедями...

Я забыл весь тот вздор, который они нежно болтали друг другу, расхаживая между бочками, ящиками, просмоленными канатами и цепями.

Была ее весна. Она цвела, рассыпала лепестки, ветер подхватывал их и кружил на черной палубе над поверхностью моря, и всем на пароходе становилось веселее.

Капитан что-то сказал о стихотворении, которое он написал и оставил в каюте Изергиной, но буря еще раз сорвала двери, вломилась в комнату, и мы долго ждали, пока матрос закроет нас от ревающего мрака. Капитан перебирал тонкими пальцами седеющую бороду и молча смотрел в окно, в стеклах которого блуждали и колебались отражения свечей.

— Кто знает, что гонит человека к этим далеким скалам, голодным пустыням; заставляет без конца кружиться среди туманов и льдов, — продолжал он. — В этих морях есть какое-то жуткое очарование смерти, странное и необъяснимое предчувствие вечности, иного бытия. И хорошо себя чувствует здесь только тот, кто приносит в эту пустыню, освещенную загадочными, трепетными сияниями, смутное представление будущей жизни, неясное ожидание, волнующее надеждою предчувствие новых бесконечных скитаний. Но тот, кто крепко связан с телом, сплетается с другими жизнями, боится от них уйти, — тот гибнет здесь, как лед, вынесенный на простор южных морей.

— Ну, так вот, — вернулся он к своему рассказу, — муж и жена Изергины напоминали мне двух мотыльков с кружевными крыльями, носящихся над ледяною глыбою, обманутых ее алмазными блестками и золотыми сверканиями.

На двенадцатый день мы подошли к Белому заливу. Изергины сошли с своими рабочими в лодки, которые ветер и волны быстро отнесли к скалистому берегу.

Осенью «Мария» и еще один пароход пытались подойти к новому маленькому поселку в Белом заливе, но на море была такая толчея, что мы не могли спустить лодок и видели только верхушки черных скал, выставлявшихся из тумана.

Зимою во Владивостоке я часто представлял себе одну и ту же картину. — Ледяная буря мечется по пустынному, серому берегу, обвывая занесенные снегом бревенчатые домишки, в которых кучка людей, напрягая все силы, борет-

ся за жизнь, и среди них, истощенных трудом, холодом и голодом, бедная женщина, мечтавшая о вечном празднике. Я хорошо знал, что провизии хватит на всю зиму, но ранней весной придет голод. Я сам пережил как-то зимовку в тяжелых условиях и без особых усилий воображения мог нарисовать себе картину того, что должно было происходить на берегу Белого залива. Иногда я среди дня видел внутренность запущенной инеем избы. Белая изморозь ползет со стен на пол, по скамьям; все ближе и ближе к середине, где около догорающего огня молча сидит кучка людей. Тяжелый, отвратительный запах прелой обуви и одежды, слабый свет лампы или глиняных плошек, в которых горит тюлений жир, и за окнами неустанное дыхание бури, сливающееся с беспокойным шумом океана. На лица я умышленно не смотрел и видел только черные, тяжелые тени около красного, неровно вспыхивающего пламени, которое раздувал морозный ветер, со свистом и визгом врывавшийся в трубу... Седой иней подползает уже к ногам, разметывается по кирпичной стене печи, в которой слабо вспыхивает последнее бледное пламя. И потом мрак и тишина...

Весна была холодная, с жестокими, бурными ветрами, шедшими от Берингова пролива, и «Мария» вышла в плавание только в конце июня. Я торопился, как мог, но все же до Белого залива мы добрались только на одиннадцатый день. Пустынный берег, чисто выметенный ветром, уставленный широкими скалами, о которые разбивались длинные волны прибоя, походил на огромный собор, за колоннами которого слышалось нестройное пение; кто-то рыдал, гулкое эхо подхватывало все звуки и играло ими в глубокой каменной пустыне. За грядой береговых скал я увидел два дома, таких же, как и те, где мы сидим.

Медленно, боясь неожиданно встретить что-то страшное, шел я по хрустящему песку к этим бревенчатым срубам, похожим на колодцы, казавшимися до отчаяния жалкими и ничтожными рядом с распахнутой ширью океана. Там я нашел то же, что мы видели и здесь.

Вещи были разбросаны по полу и широким нарам, точно в большую мрачную комнату ворвалась буря.

Я тихо прикрыл двери и, чувствуя, как бьется сердце, медленно пошел по едва намеченной тропинке к дому, который, как мне казалось, я часто видел из Владивостока и с палубы своего парохода. Поднимаясь, я оглянулся на залив и вдруг увидел Изергина. Он вышел откуда-то из-за скал, разбросанных по всему берегу и, закрывая рукой глаза от солнца, неторопливо шел в мою сторону. На лице его не было ни удивления, ни радости.

— Все хорошо, — сказал он равнодушным голосом, когда мы сошлись на узкой площадке под скалой, от которой веяло еще холодом зимней ночи. — Вы могли бы и не приезжать, — он протянул мне худую влажную руку с длинными грязными ногтями.

— Где ваши рабочие? Где Надежда Дмитриевна? Как вы прожили зиму?..

Изергин улыбнулся печальной улыбкой и в глазах его я видел что-то пустое, мертвенно-бледное, как и в той безграничной пустыне, что окружала, нас.

— Рабочие еще осенью ушли туда, — он указал рукой к горам. — А Надя здесь, мы похоронили ее под тем большим крестом. Может быть, вы ее увидите.

— Как же я ее увижу, если она, умерла?

Изергин посмотрел на меня взглядом, в котором было сожаление к моей ограниченности и сознание собственного превосходства. Так они оба смотрели на меня, когда я вез их к Белому заливу.

— Пойдемте! — сказал он, перепрыгивая через камни и рытвины с такой легкостью, которая указывала на долгие бесконечные скитания по этому берегу. Молча дошли мы до двери. Изергин остановился на пороге и пропустил меня в комнату, пустую и мрачную, так как единственное окно было закрыто белым крестом, стоявшим снаружи у самой стены.

— Вот тут мы живем. Что делать? Надя постоянно жалуется на беспорядок и тесноту, но теперь уже ничто не переменится.

Изергин сел на скамейку и очень подробно рассказал мне, как бежали рабочие, когда узнали, что им придется зимовать на этом пустынном берегу, рассказывал о бесконечной зиме, о болезни своей жены, которая умерла на той скамье, где он сидел, и видно было, что все это давно перестало его волновать, было далеким прошлым, таким же чуждым, как и все то, что скрывал серый морщинистый океан.

Гудит прибой, плывут туманы, но человек смотрит только на что-то свое, глубокое, невидимое для всех окружающих. И, как тогда на пароходе, он, кажется, считал меня глубоко несчастным, потому что я не понимал, не мог понять того огромного, радостного, что видел где-то Изергин. И, как тогда, он был скрытен, может быть, потому, что не желал огорчать меня своею радостью. Я молча слушал все, что рассказывал этот человек, оглушенный, подавленный бесконечными всплескиваниями волн, холодным сверканием звезд бесконечной зимней ночью, и отлично понимал по его улыбке, что он скрывает от меня что-то самое важное для него, без чего он давно перестал бы жить.

— Завтра мы уходим, — сказал я. Мне казалось, что мои слова не доходят до Изергина. — Соберите то, что желаете взять с собой; я пришлю матросов, они вам помогут.

Изергин отрицательно покачал головой и спокойно ответил:

— Я не поеду!

— Почему? Не можете же вы остаться один в этой безграничной пустыне.

— Потому что не хочу и не могу оставить ее одну. Вы только подумайте, что будет с нею?

— Но ведь она умерла!

Изергин молчал, почувствовав, что сказал что-то такое, чего не должен был говорить, и стал подозрителен и осторожен, как человек, у которого хотят отнять то, что для него дороже жизни.

— Желаю остаться и останусь! Ведь не увезете же вы меня отсюда насильно?

Я пожал плечами и не знал, что ответить.

Стушались сумерки. Изергин зажег свечу в позеленевшем подсвечнике и неожиданно сказал с радостной улыбкой, обращаясь к кому-то невидимому в углу комнаты:

— Хочешь, я скажу все? ну, не все. Я ему расскажу только то, что ты желаешь.

Я встал.

— Послушайте, Сергей Николаевич, вам необходимо уехать. Уйдем сейчас отсюда! Ведь там, за океаном, весь мир, вся жизнь, а здесь только тяжелый сон, — он окончится навсегда, когда вы перейдете на палубу парохода.

Я говорил бессвязно, стараясь придать своему голосу всю возможную убедительность. Изергин не смотрел на меня. Он все еще что-то шептал, расхаживая по комнате, задевал за разбросанные ящики и кивал головой, как будто слушал кого-то, кого не слышал я.

— Нет, нет, я не уеду! — повторил он решительно, приглашая меня сесть. — Мы хотим быть с вами откровенны. Вы знаете, Надя всегда чувствовала к вам доверие. Вот и теперь она сидит на, своем любимом месте у окна, справа от вас! Если вы протянете руку, то дотронетесь до ее платья, она вам кивает головой. Мы долго ждали «Марии» или другого парохода. Было холодно и темно. Надя заболела воспалением легких и потом случилось *это*! Когда я рубил могилу в мерзлой земле, то был тут один и кругом, как призраки, ходили туманы. Потом она вернулась. И как же могло быть иначе?

— Смотрите, вот на окне лежит ее работа, — Изергин с радостной, счастливой улыбкой дотронулся до кусков кисей сзади себя. — Но вы понимаете, есть многое, о чем я не могу сказать даже вам.

Мы сидели в мрачной комнате, осененной тяжелым крестом, друг против друга, вот так же, как сидим теперь с вами. Так же шумел океан и все, что говорил мне Изергин, покрывало могучее дыхание моря под скалами, шум ветра и эхо, разносившее далеко по каменным россыпям голос волн.

— Я здесь не один, со мной всегда она. Вот ее стул, на котором она сидит, когда я обедаю. Надя, подойди сюда, к столу! Вот она, видите? Вся она.

Изергин поднял свечу над головой, освещая жуткую пустоту. Порыв холодного ветра откуда-то из невидимой щели задул свечу.

— Зажгите огонь! — крикнул я дрожащим от волнения голосом.

— Сейчас. Где же спички?

Он искал по столу, на окнах, а я стоял, охваченный ужасом, и в эту минуту мне казалось, что, кроме нас, кто-то третий есть в комнате.

Вспыхнуло слабое пламя, освещая черную, отвратительную нищету насквозь промерзшей избы. Изергин все так же спокойно улыбался.

— Теперь вы знаете почти все. Могу ли я ее оставить вот здесь? — он обвел рукой вокруг себя и засмеялся, до такой степени нелепой показалась ему самая мысль об этом. Я понял, что нет на земле такой силы, которая навсегда унесла бы его от этого берега, заслонила бы от него жалкую, черную комнату с белым крестом за окном.

— Прощайте, — сказал я, протягивая ему руку.

— Прощайте, — радостно ответил Изергин. И, когда он, провожая меня, стоял на пороге, смотря то в темноту, где сверкали огни «Марии», то обращаясь в глубину комнаты, и благодарил меня за то, что я не забыл о них, в его голосе было все то же, хорошо знакомое мне, сознание превосходства своего счастья, глубокого и таинственного, как океан.

Когда я сделал несколько шагов к берегу, мне вдруг показалось, что я слышу сзади себя заглушенные рыдания, и быстро вернулся.

— Не надо! ничего не надо. Я остаюсь...

Что же, может быть, он и прав? Человек всегда видит два сна, один скучный и тусклый, тот, где эти скалы и прибой, солнце и горы. Другой, — который он сам создает, и когда второй сон разрушит первый, тогда только возможно счастье, тогда наступает час полного освобождения.

ТАМ, ГДЕ ШУМИТ ОКЕАН

На берегу залива Улан-Су жили старый тигр и китаец Ван-Чанг. Когда великая вода шумела под островерхими скалами, бросая в туман холодные брызги, Ван-Чанг прятался в свою нору, выкопанную в серой глине, курил опиум и считал годы, которые прошли с того времени, как он поселился на облачном берегу.

Иногда выходило тысячу лет, иногда больше, целая вечность.

Здесь время шло, как туманы над морем и горами.

Кто знает, откуда пришли и куда уйдут тучи, нависшие над зубцами Сихотэ-Алиня? Нельзя помнить вечно меняющегося лица неба. Вчера туманы стояли над морем, как войско, готовое к битве. Сегодня они лежат, как горы, обрушенные из зеленой выси на леса и голые крутизны.

В заливе Улан-Су не было времени. Иногда морозы приходили поздней весной, и по черной воде мимо берегов плыли с севера льдины, иногда зимой раздвигалась лиловая завеса, блестела металлическим блеском вода, шумел прибой и старый желтый тигр, щуря зеленые глаза, грелся на плоском белом камне.

Китаец не боялся ламзы, потому что полосатый хищник никогда не трогает того, кто совершает ему поклонение и почтительно уступает охоту. Залив с трех сторон был окружен горами, через которые не было дороги, и, чтобы не ссориться, человек и зверь поделили между собой добычу. Ван-Чанг владел всем морем и трехугольным куском обработанной земли на берегу; все остальное принадлежало тигру. Если человеку удавалось убить дикую козу, заблудившуюся между скалами, он отдавал лучшее мясо могущественному желтому охотнику и просил у него прощения, совершая трижды восемнадцать поклонов.

В ненастье, когда иззубренные вершины гор закрывались туманами и в почерневшем великом море, сливаясь с волнами, плыли, взбивая косматую пену, чешуйчатые змеи,

тигр спускался к заливу и жил в чаще кустарников. Ван-Чанг, сидя у себя в землянке, куда ветер бросал брызги холодной воды, видел, как качались гибкие ветви и над кудрявой зеленью, обильно смоченной дождем, поднималась красивая голова зверя с седыми пучками волос на маленьких ушах.

Тогда человек и зверь, разделенные широким пенистым ручьем, вступали в беседу.

Ван-Чанг медленно курил свою трубку, слушал, как шумит дождь, и терпеливо ждал, когда скука и усталость заставят желтого охотника заговорить с человеком.

Тигр был очень горд; он имел много поколений предков, царствовавших на всем хребте Сихотэ-Алиня, наводивших страх на все живое, и поэтому, хотя скука заставляла его без конца кружиться на поляне между ручьем и кустарниками и зевать так, что хрустели челюсти, он не считал достойным для себя начинать беседу с Ван-Чангом.

Но и китаец мог неподвижно просидеть на своей циновке много времени, смотря на пену, которую ручей уносил к великому морю.

Тигр терял терпение и, подойдя к берегу, начинал грозить китайцу, проклинать туманы, ветер и дождь.

Ван-Чанг, не меняя позы, кротко улыбался и вежливо отвечал:

— Могушественный желтый охотник напрасно рассыпает проклятия. Туманы выходят из великой воды и в нее возвращаются и никто не может остановить их движения. Они идут овладеть высоким Сихотэ-Алинем и всей землей и будут приходить, пока на месте гор расстелется море. Каждый год новые камни устилают долину и, как пыль, уносятся к великой воде. Желтый охотник и я, слабый человек, исчезнем прежде, чем упадет Сихотэ-Алинь. Так будет.

Тигр клал голову между вытянутыми лапами, мурлыкал и обдумывал ответ.

— Это хорошо, что горы станут ниже: я найду проход на ту сторону, соединюсь со своими братьями и тогда мы объявим войну людям, истребим их всех, кроме совершающих поклонение нам трижды восемнадцать раз каждый день.

Пищи становится мало для всех и люди должны погибнуть, потому что стали на дороге царей Уссури, Хингана и Алиня.

Ван-Чанг хитро улыбался.

— Оставайся здесь, желтый охотник, потому что ты погибнешь, когда найдешь выход на ту сторону. Если вы соединитесь и дадите битву людям, они вас уничтожат. Это будет великая война, но вы погибнете.

— А на чьей стороне будешь ты, Ван-Чанг? — спрашивал желтый охотник, и его зеленые глаза насмешливо и угрожающе смотрели на маленькую фигуру с поджатыми ногами.

— Я очень слаб для такой битвы и останусь в стороне.

— Но кому ты желаешь победы?

— Думаю, что тогда многие люди соединятся с тиграми, — уклончиво отвечал Ван-Чанг.

Так они беседовали много времени, пока белый поток уносил камни Алиня и туманы, рожденные в море, уходили далеко в неизвестную страну за горами. Проходило два-три дня, а может быть, долгие годы, — двадцать или тридцать лет. Кто знает: не было времени в долине Улан-Су!

Как-то разговаривая с тигром, Ван-Чанг повернул голову к морю и от испуга выронил трубку с опиумом.

Сквозь сетку дождя он увидел большой черный пароход с двумя желтыми трубами, который медленно двигался вдоль берега.

Стоя на камнях по обеим сторонам ревущего потока, тигр и человек видели, как с парохода медленно спустились лодки и направились к берегу. По мере того, как лодки приближались к скалам, Ван-Чанг и желтый охотник медленно отступали вглубь земли, покрытой вспененными ручьями и обломками скал.

Вечером пароход ушел, оставив на берегу толпу женщин, мужчин и детей. С той скалы, где прятался теперь Ван-Чанг, хорошо было видно, как запылали высокие костры и отблески красного пламени запрыгали на мокрых камнях, в ручье, заглянули в черную воду под берегом. Желтому охотнику не нравился яркий свет, но хитрый ламза ничем

пока не хотел выдавать своего присутствия, и поэтому, тихо ступая по скалам и перепрыгивая через промоины, он удалился в узкую долину, которая тянулась до вершины Сихотэ-Алиня.

На другой день люди на берегу начали работать.

В залив Улан-Су сразу ворвалась шумная, суетливая жизнь. Ван-Чанг со страхом смотрел, как, подрубленные топором, упали священные лиственницы, утопив свои вершины в глубокой воде. Вокруг зеленых великанов рядами легла вырубленная роща, в которой жил змей И-Фанг, толщиною в руку и длиною в десять шагов.

И-Фанг, спасаясь, пополз по берегу ручья, таща между камнями свое длинное тело, похожее на серый канат, но от старости змей не мог найти безопасного пути в горы и направился прямо к тому месту, где двое русских поселенцев расчищали поляну.

Ван-Чанг увидел странную вещь. Вместо того, чтобы бежать от змея, которого боялся даже великий желтый охотник, люди с криками бросились к нему и через минуту длинное тело мудрого И-Фанга, единожды в столетие меняющего свой цвет, разбитое и раздавленное, билось под камнями. Когда русские начали взрывать скалы на берегу, чтобы расчистить место для стоянки лодок и сделать удобный спуск к морю, поднялся такой шум, какого еще никогда не было в заливе. Ван-Чанг бежал в тайгу и не выходил несколько дней, лежа между камнями на мокрых листьях и вслух рассуждая о безумии пришельцев.

— Скалы ограждают землю от нашествия великой воды и кто колеблет их, погибнет, потому что открывает путь морю к земле. И-Фанга нельзя убить, он вновь и вновь рождается каждые сто лет и, когда явится в новой коже, блистающей, как свежая и сочная трава, он сожрет детей пришельцев, их скот и их самих.

По склону горы мимо китайца испуганно бежал волк Ли-Канг, хитрый обманщик, которого одинаково ненавидели и Ван-Чанг и тигр. Ли-Канг опустил острую морду к мокрой земле и глаза его блестели от радости. Китаец бросил в него камнем.

— Ты один рад приходу русских, потому что со всеми жил в ссоре и питался падалью, но подожди, дойдет и до тебя очередь!

Ли-Канг насмешливо, одним глазом посмотрел на китайца, отбежал на такое расстояние, куда не долетали камни, и, хрипя от душившего его смеха, завыл погребальную песню Ван-Чангу.

Прошел месяц. Подходило время муссонов, несущих с моря лиловые и черные тучи, когда горный поток разливался во всю ширину долины, и Ван-Чанг спустился посмотреть, что сделали белые пришельцы.

На холме, где жил мудрый И-Фанг, теперь стояли бревенчатые избы; кругом тянулось вспаханное поле и еще дальше рядами лежала скошенная трава. Люди и лошади работали в глубине долины, прокладывая широкую просеку в тайге; никто не мешал Ван-Чангу ходить около моря. Китаец осторожно пробрался за скалами к воде и увидел рыбу, которая сушилась на высоких вешалах. Тут же валялась убитая акула и в широкой луже, отгороженной от моря камнями, через которое сердито хлестал океан, метались страшные скаты с плавниками, похожими на крылья.

Ван-Чанг знал, что этими крыльями пятнистый скат прикрывает свою добычу, чтобы никто не видел мучительной смерти от его ударов.

Пришельцы, овладели не только землею, но и морем.

Злоба и страх овладели Ван-Чангом. Дрожащими руками он отвалил два больших камня и выпустил скатов в открытое море; разрезал ножом сети и попробовал сдвинуть одну из лодок, но она оказалась слишком тяжела и поэтому мудрый Ван-Чанг вырезал на ее дне отверстие и прикрыл его корой, чтобы течь открылась далеко в море, и белые люди не могли возвратиться на берег. Сделав все, как подобает мудрому, Ван-Чанг сидел ночью высоко в горах, над которыми плыл месяц, и слушал крик ночной птицы. Неожиданно он увидел в зарослях густого кустарника хорошо знакомую круглую голову великого желтого охотника.

— Трус, бродяга! — закричал Ван-Чанг так, что тигр попятился в темную чащу. — Ты умеешь нападать только на

беззащитных и бежишь от русских. Пойди, посмотри, что сделал я своими слабыми руками! Белые люди захватили твоё владение, убили мудрого змея И-Фанга и ни разу ещё не слышали твоего голоса. Даже подлый волк Ли-Канг смеётся над тобой.

Зверь, щуря свои зелёные глаза, молча слушал оскорбления, которыми осыпал его Ван-Чанг, и потом зарычал так грозно, что разом смолкло всё живое.

Китаец понял, что жёлтый охотник обдумывает месть и что скоро наступит время, когда белым людям, занявшим морской берег, придется бежать от гнева ламзы. Совершив поклонение, какое установлено владыке тайги, Ван-Чанг попросил прощения за свои необдуманные слова.

— Я всегда готов помогать тебе в войне с белыми людьми и буду следить за ними, чтобы приносить великому охотнику все известия, какие ему необходимы.

Тигр не удостоил китайца ответом и бесшумно исчез под деревьями.

Наступило дождливое время. Из моря к горам двинулись процессии синих и белых туманов. Тяжело ползли четырехкрылые и шестикрылые драконы; шли воины со знаменами, которые колебал и рвал восточный ветер; выплывали в небо морские чудовища, которым никто ещё не дал имени.

Ван-Чанг курил опиум и по целым дням смотрел на ожившее небо.

Случалось, что колесницы туманов опрокидывались, воины падали, ветер подхватывал знамена, кружил их над зубчатыми вершинами и бросал обратно в море. Вновь синело небо и сверкало солнце, но над великой водой поднималась новая клубящаяся стена и ползла к горам. Над долиной, там, где скрывался Ван-Чанг, сотни ручьев пели тонкими голосами; ниже они сливались в мутный поток и с хохотом, в бешеной пляске, неслись среди камней к берегу, около которого вода так ревела, что могла бы заглушить голос самого жёлтого охотника.

Мелкие камни катились к морю, крупные срывались с своих мест и, ломая кусты и деревья, прокладывали широ-

кие тропинки; на берегу потока скалы дрожали и колебались, готовясь ринуться вниз через крепкую чашу, как взбесившиеся лошади. Вода смыла наполовину поля, засеянные пшеницей, унесла лодки, разрушила дорогу и подступила к избам. Каждый день все новые и новые процессии выходили из глубины вод и несли новое разрушение.

Ван-Чанг знал, что белые люди погибнут все до одного, если не догадаются подняться в горы, но там их ждал полосатый ламза.

Как-то блеснуло солнце и свесившиеся над горами белые воины, вышедшие из моря, смотрели на опустошенную ими землю. Ван-Чанг осторожно спустился в долину. То, что он, увидел, ему очень не понравилось. Пришельцы собирали камни и по сторонам потока строили две стены. Одна уже была настолько высока, что отлично защищала их от ярости воды. Другая еще тянулась вровень с рекой, но быстро росла, так как камни и бревна отовсюду носили не только мужчины, но и женщины и дети. Ван-Чангу не было жаль людей, но он жалел землю, мать всего живущего, принявшую семена и покрывавшуюся зелеными всходами. И поэтому китаец подумал, что белые люди поступают хорошо.

Когда снова пошли дожди, китаец остался внизу, в чаще лиственниц, чтобы посмотреть, кто выйдет победителем: люди или вода. Река уже устала уносить камни; вода хотя и поднималась, но не могла разрушить стену и Ван-Чанг решил прийти на помощь туманам и дождям.

Он спустился по вязкой глине, прошел по каменной стене до того места, где река делала крутой поворот, и сбросил в нее со стены несколько обломков скал. Вода лениво плеснулась в образовавшееся отверстие, потом радостно полилась широким ручьем и вдруг, разрушая преграду, всей силой, с яростным воем ринулась на поля и дома.

Ван-Чанг видел сверху, как люди спасались на крышах; видел, как двух из них смыл поток, как за утопающим бросился еще один и погиб, запутавшись в ветвях деревьев, уносимых белой водой.

Утром дождя не было и с гор подул легкий ветер. Муссон окончился. Солнце светило ярко и картина, которую видел китаец далеко внизу, заставила его невольно пожалеть о разрушенной плотине. Долина имела такой вид, как будто она только что выступила со дна моря. Всюду серый песок и камни. Возделанная земля вся унесена в море и на ее месте голая скала. Уцелела только одна изба, вокруг которой жалась толпа мокрых, испуганных людей. Но их горе мало трогало Ван-Чанга: он знал, что совершил тяжкое преступление, помогая морю унести плодородную землю, питающую семена и растения, и за это преступление он понесет наказание. Когда китаец поднимался по обрушенным камням и оползшей земле, он увидел на глухой поляне окровавленные куски мяса и кости двух лошадей, и понял, что желтый охотник начал свое дело.

Через три дня пришел пароход.

Ван-Чанг видел, как в толпе пришельцев началось какое-то движение. Люди громко спорили и бранились. Потом толпа разделилась. Восемь человек сели в лодки и уехали, а девять, в том числе трое детей и две женщины, остались на берегу.

Всю ночь в разных местах леса слышалось грозное рычание полосатого ламзы, который радовался победе и обещал гибель всем оставшимся.

Волк Ли-Канг, с поджатым хвостом, подошел к пещере Ван-Чанга, когда китаец докуривал вторую трубку опиума, и униженно просил прощения.

Чтобы доказать свою преданность, Ли-Канг спустился в долину и убил двух собак.

С этого дня поселенцы боялись отойти от берега. Справа от них, в густой чаще кустарника и зарослях камыша, скрывался желтый охотник; слева, между камнями, сидел в засаде Ли-Канг, ожидая легкой добычи. Люди принялись расчищать от камней уцелевший клочок плодородной земли; работа была тяжелая и подвигалась медленно, потому что камни глубоко ушли в почву. Ван-Чанг, боявшийся наказания за гибель жатвы, поднимался ночью с груды листьев, тихо спускался в долину мимо логовища

желтого охотника и расчищал почву, так как даже величайшие грехи могут быть прощены небом человеку, который обращает землю в сады и хлебные поля.

Работе людей помогала одна лошадь, и Ван-Чанг с удовольствием следил за тем, как она тащила на веревках камни, которые не могли бы сдвинуть четверо сильных мужчин. Но желтый охотник тоже наблюдал за всем, что происходило внизу, и однажды ночью Ван-Чанг услышал рев, которым ламза извещал, что он убивает лошадь и человека.

Утром прищельцы похоронили изуродованный труп мальчика, убитого тигром, и два дня не выходили на работу в поле, которое расчищал теперь по ночам один Ван-Чанг.

Презренный трус Ли-Канг доел остатки лошади и по целым ночам выл, предсказывая гибель всем людям...

Иногда русские брали ружья и уходили искать тигра, но полосатый ламза умел хорошо скрываться. Они могли бы искать его многие годы на таком пространстве земли, какое желтый охотник был способен обежать в один день, от восхода до захода солнца.

Площадь плодородной земли не расширялась и Ван-Чанг, несмотря на самую усиленную работу при свете луны, мог сдвинуть не больше десятка камней, а их было много сотен. И поэтому китаец бросил работу и все время сидел среди скал, охватив колени голыми, худыми руками, смотря на занесенную песком изуродованную землю и думая о наказании, которое ждало его за уничтожение поля. В таком положении застал его тигр, пришедший объявить свою волю.

Зверь остановился перед камнями, так как не мог войти в узкую щель, за которой находился китаец, и стоял, ожидая поклонения, но Ван-Чанг не обратил на него внимания и только положил в трубку новую крупинку опиума.

— Слушай, — сказал желтый охотник. — С этого дня я здесь царствую. Ты и Ли-Канг будете моими рабами. Я поселюсь на берегу ручья и буду убивать всех белых, когда они пойдут носить камни или брать воду. Кости я буду отдавать тебе и волку и, когда долина опустеет, я начну искать

прохода через горы, чтобы вместе с тобой идти на охоту за людьми по ту сторону Сихотэ-Алиня.

— Я человек! — коротко ответил Ван-Чанг.

— И ты будешь мне служить, — сказал ламза и медленно направился к долине. За ним, как черная тень, следовал Ли-Канг.

— Я человек, — еще раз сказал Ван-Чанг.

И, когда ночная птица умолкла и над великой водой показалась белая полоса рассвета, он так же легко и быстро, как тигр, скользнул вниз в долину, к дому белых людей. Китаец знал, что за ним следил желтый охотник, и поэтому, дойдя до ручья, лег на землю и пополз, как ползал мудрый И-Фанг.

Белые люди были все в сборе, когда отворилась дверь и вошел покрытый грязью Ван-Чанг. Дети закричали, а мужчины бросились к ружьям, но китаец опустился на скамью около дверей и знаками просил выслушать его. Показав священный амулет, на котором было изображение великого охотника, и взяв ружье, Ван-Чанг объяснил, что он желает вести людей к тому месту, где скрывался тигр, чтобы убить его.

Опять поднялся спор, так как сам Ван-Чанг был похож на зверя и пришельцы не доверяли ему. Наконец, трое взяли ружья и, пропустив вперед китайца, молча пошли за ним.

Идти пришлось очень долго. Полосатый ламза был очень осторожен, но Ван-Чанг отлично знал все привычки зверя и не боялся неудачи.

Охотники и китаец легли на влажную землю и ползли сначала к горам, потом спустились вниз и оказались сзади ламзы. Ветер дул с гор и поэтому тигр не мог узнать о приближении опасности. Оставив белых людей в чаще, густо перевитой диким виноградом, Ван-Чанг выступил на небольшую поляну и воздал последнее поклонение ламзе.

Тигр встал и гневно зарычал, потому что не любил, когда его беспокоили на охоте. Ван-Чанг быстро отступил в сторону и услышал, как из чащи разом загремели выстрелы.

Великий желтый охотник упал на траву, но сейчас же поднялся и через всю поляну прыгнул на китайца. Падая, Ван-Чанг закрыл лицо руками, чтобы не видеть зеленых глаз ламзы.

Человек и зверь умерли вместе. Трусливый Ли-Канг видел, как люди подняли убитого желтого охотника и долго стояли вокруг окровавленного тела Ван-Чанга. Потом, осторожно раздвигая ветви и трусливо склоняясь к земле, Ли-Канг мелкой рысью побежал к горам, удаляясь от земли, навсегда завоеванной белыми пришельцами.

В ПУСТЫНЕ ПОД ЗВЕЗДАМИ

I

Лесопильный завод Акционерной Восточной Компании тянулся на краю китайской деревушки Чжен-Хау. Со двора, где стоял дом управляющего Николая Васильевича Заморзина, видна была тусклая лиловая даль манчжурской степи и ряды пологих холмов, на которых в сочной траве скрывались белые могильные камни. С другой стороны лежал поваленный лес, окутанный волнами едкого дыма. Сухой хворост, горы досок, от которых пахло медом и смолой, загорались каждую ночь, и половина рабочих-китайцев постоянно была занята тушением пожара. Огонь скрывался где-то в почве и длинные, жадные, красные змейки неожиданно расползались по траве и сухим листьям, впивались в кедры и сосны и, окутанные густым дымом, медленно ползали в гудах опилок. Огонь съедал все барыши Восточного Общества, но хуже всего было то, что он уничтожал доходы управляющего и главного инженера Федора Ивановича Крафта.

Вечером Заморзин и Крафт сидели за круглым столом, лениво пили пиво и смотрели в окна, за которыми полная луна выткала тонкое серебряное кружево и прикрыла им неизвестные дороги, могильные холмы и черные отроги Хин-Гана.

— Я брошу службу и уеду, если так будет продолжаться, — сказал Крафт. — Я ехал сюда ради денег, и теперь все пропадает.

— А что бы вы сделали с вашими деньгами? — спросил Заморзин и насмешливым взглядом окинул маленькую фигуру Федора Ивановича. Лицо у инженера было такое, какие встречаются на старых выцветших и пожелтевших фотографиях. Едва намеченные белые брови, глаза, взгляд которых нельзя уловить, тонкие губы и гладко прилизанные рыжеватые волосы.

— Я хочу устроить свою жизнь красиво и приятно, — спокойно ответил Крафт. — Зимой буду жить в Берлине или Петербурге, весной в Ницце, а летом в Швейцарии. Я европеец, говорю на четырех языках и везде буду себя чувствовать, как дома. Вы знаете, что у меня есть мать и невеста, и они ждут, пока я соберу ту сумму, которую мы все вместе наметили.

— Ну, у меня программа проще! — заявил Заморзин. — Вырвусь отсюда и разом пушусь во все тяжкие, — заведу разных статей любовниц, лошадей, зароюсь в шантаны и рестораны. Вы, Крафт, натура сентиментальная, поэтическая и даже слезливая, перед Юнгфрау на колени встанете, над цветочками умиляться будете, ну, а мне размах нужен, чтобы кругом все кружилось и голову кружило. Однако, давайте спустим занавеску на окне, а то, чего доброго, какойнибудь проклятый хунхуз раньше времени оборвет наши мечты.

— Да, я люблю поэзию, — сказал Крафт. — Но поэзию, созданную культурой, природу, облагороженную искусством и техникой. Человек доканчивает дело, начатое Богом. Он приходит и кладет последние удары резца на мертвую материю, дает ей смысл и жизнь. Может быть, наше призвание, конечная задача людей в том и заключается, чтобы довести до совершенства созданное Богом.

Белые брови инженера поднялись и бесцветные глаза вопросительно остановились на грузном, тяжелом, как у каменной бабы, лице Заморзина.

— Послушайте, Крафт, все это мыслелудие, опасное и нездоровое! Потому что у человека главное аппетит, желание жрать! Что жрать? — все! Вот этот лес, степь, Хин-Ган, китайцев, женщин, омаров, шампанское... все! И чем больше аппетит, тем лучше! Какое нам дело до совершенства или несовершенства творений? Чем человек больше может сожрать, тем он лучше, выше, по-вашему, прекраснее. Эх, Крафт, давайте лучше коньяку выпьем.

Инженер покорно подставил стакан и опустил глаза к грязной доске стола, залитой вином и чернилами.

— Я понимаю вашу мысль, — сказал он, медленно подыскивая слова. — Но ведь необходимо, как вы говорите, жрать со вкусом. Не станете же вы пить этот коньяк из грязного таза. Нужен бокал, и еще лучше, если есть цветы, хрусталь, красивые женщины. И женщина должна быть культурной. Тонкие кружева, которые вы можете мять и рвать, запах тонких духов, ну и знание искусства любви. У меня есть невеста и, когда она станет женой, я буду учить ее этому искусству любви.

— Браво, Крафт! Вы умеете есть со вкусом.

— Я много об этом здесь думаю, — ответил инженер и снял со стены скрипку.

— Пойдите! — сказал Заморзин, приподнимая край занавески, за которой плыла белая ночь. — Слышите?

Крафт замер с поднятым смычком, потом встал и, осторожно ступая на носках, подошел к окну.

Где-то далеко слышался смутный шум голосов, то приближаясь, то удаляясь, и, казалось, вся степь прислушивалась к этому смутному говору.

— Китайцы шумят!..

Заморзин схватил револьвер и без шляпы бросился бежать к двери; за ним в туфлях, размахивая смычком, бежал Крафт.

II

Ночь шла, озаренная блеском и сияниями. Кто-то невидимый от неба до земли ходил по черной степи и бросал звездные огни в спокойную, широкую реку, сыпал их над черными гигантскими лиственницами; на твердой тропинке, вдоль изгороди, сустились китайцы и что-то кричали. Заморзин понял, что они ищут или нашли поджигателя.

— Собак! спустите собак! — кричал он, размахивая револьвером.

Старик-китаец Вуфанг открыл двери сарая и оттуда, захлебываясь от ярости, выбежали три большие овчарки. Они

бешено бросились к грудам досок, потом к зарослям обожженных кустарников над рекой, в которых притаился ветер, тихо и осторожно перебиравший голые, опаленные ветки, на которых кое-где еще тлели искры, как старуха-богомолка перебирает пальцами восковые свечи.

Китайцы столпились на тропинке и вдоль реки, казавшейся бездонною пропастью, в черной глубине которой горели голубоватые звезды.

Собаки лаяли, захлебываясь от злобы, и рвались к яме, черневшей под корнями.

— Выходи! — крикнул Заморзин хриплым голосом. — Выходи! или я буду стрелять!

Все вместе, и люди и собаки, составляли одно целое, жадное и стремительное, охваченное яростью и злобой. Это была не толпа, а одно многоликое существо, над которым властвовало одно желание, смутное и страстное.

— Выходи! — еще раз крикнул Заморзин и взвел курок револьвера. Кусты качнулись, сбрасывая искры, и на поляне появился молодой китаец, покрытый копотью. Он визжал, как затравленный зверь, и лизал охватившие его крепкие руки. Почувствовав прикосновение сухих, воспаленных губ, Заморзин отдернул руку и крикнул:

— Веди его сюда!

Широко шагая, управляющий быстро пошел к середине двора, где был вкопан столб с колоколом, которым созывали рабочих к обеду.

— Что вы с ним хотите делать? — спросил Крафт. И в голосе его, жалком, дрожащем, слышалось удовольствие, почти страстное наслаждение от сознания, что сейчас произойдет что-то до боли в сердце мучительное и захватывающее, из чего нельзя пропустить ни одной черты, ни одной мельчайшей подробности.

Рабочие, обмениваясь короткими фразами, прикрутили хунхуза к столбу, так что из-под веревок выступила кровь, и отошли в сторону.

Около столба привязанный китаец, освещенный луной, казался совсем маленьким. Его бледное лицо кривилось от боли.

— Ты поджигатель? — спросил Заморзин. И, размахнувшись, тяжело два раза ударил китайца. Пойманный что-то заговорил, выплевывая кровь. Голос его удивительно походил на лай собаки.

— Он говорит, что леса не поджигал, а пришел купить спирта, — перевел старик Вуфанг, сидевший на корточках, рядом с собаками.

— А! спирт! — сказал Заморзин. — Хорошо, я дам ему спирта, сколько в него влезет! Вуфанг, неси сюда ведро спирта и воронку.

— Неужели вы хотите?... — спросил Крафт, холодея от ужаса.

— Какой дьявол тут с ними разберется, — сердитым голосом, по-французски, ответил Заморзин. — Среди рабочих половина хунхузов. Либо они нас съедят, либо мы их!

Китайцы усадились на корточках вокруг столба и бесстрастно, с каменными лицами следили за тем, что происходило на сцене, залитой зеленоватым светом луны. Вуфанг, наклонясь, тащил полное ведро спирта; жидкость плескалась на траву, и в ней дрожали серебряные отблески.

— Открывай рот! — крикнул Заморзин хунхузу и трубкой железной воронки ударил его по крепким белым зубам.

Китаец покорно раскрыл рот.

— Крафт, подержите воронку!

— Я не хочу, — ответил инженер. — И вообще все, что вы делаете, это... Я не знаю, что это такое...

— Слушайте! Держите воронку, вы! — крикнул Заморзин. — Бросьте вашу сентиментальность.

В голосе его было столько повелительности, что Крафт дрожащей рукою взял воронку, которая упиралась во что-то мягкое.

— Ну, я наливаю! Пей, собака!..

Заморзин захватил полный ковш спирту и плеснул его в жестянку. Китаец отчаянно рванулся и начал стонать. Звук его голоса были какие-то странные, почти звериные:

— Гу, гу, гу...

— Мало тебе? Еще хочешь? Вот тебе еще!..

Заморзин плеснул новый ковш.

Китаец вдруг отчаянным движением выбросил воронку и забился на веревках. Холодный спирт облил руки Крафта.

— Не хочешь, собака? Не нравится?! А лес жечь любишь?
— Придержите его, — обратился Заморзин к рабочим.

Те сидели неподвижно, как два ряда камней.

— Ну же, скорей! Вуфанг и Фучанг, живей!

Заморзин поднял револьвер. Воронку опять вставили в крепко зажатый рот, разорвав одну губу. Каждый китаец подходил и плескал спирт в черное, широкое отверстие.

Китаец сначала тяжело ухал. Потом слышно было только, как он, тяжело захлебываясь, дышит. Скоро смолкли и эти звуки. Черные тени подходили, уходили и за ними стояли инженер и Заморзин.

— Довольно! — вдруг крикнул Крафт, не узнавая своего голоса. — Он умрет!

Никто ему не ответил. Воронка упала и китаец остался стоять с широко раскрытым ртом и удивленным, неподвижным взглядом смотрел на луну над крышей дома.

— Наглотался? — спросил Заморзин. — Тряхните-ка его!..

Кто-то толкнул тело, подвешенное на веревках. Оно качнулось, как кукла, и вдруг повернуло.

— Да убейте же его! — крикнул Крафт. — Перестаньте мучить! Дайте мне револьвер.

Заморзин засмеялся и вынув коробку спичек, начал их зажигать и бросать одну за другой в лужу спирта. Побежали синие, веселые змейки. Выросли, слились, и вдруг вокруг столба вспыхнуло высокое пламя. Огненный вихрь колебался, вздуваемый ветром, и до мельчайших подробностей видно было, как в нем корчилось и трепетало живое тело. Оно горело внутри и снаружи. Голова казалась огненным шаром, который колебался и качался над толпой.

Китайцы, как испуганное стадо, бросились бежать в разные стороны. Заморзин взял под руку Крафта и повел его домой.

В просторной комнате пахло духами. Со стен смотрели знакомые картины в золоченых рамках. Крафт упал на стул и закрыл лицо руками.

— Ну, выпейте коньяку! Велика важность. Одной гаденой на свете меньше, — говорил Заморзин, расхаживая по комнате.

Через занавески светило красноватое пламя догоравшего костра, и они казались окровавленными.

Перебивая друг друга, завывли овчарки и Крафту почудилось, что к их протяжному вою примешивается еще человеческий голос, страшный и томительный.

— Забудьте о ваших нервах. Как же вы, Крафт, хотите иметь средства для красивой жизни, для всех этих европейских экскурсий в область наслаждений, если боитесь воя какого-то китайца? Теперь, я уверен, лес будет цел, а это для нас с вами целое состояние. Сосчитайте-ка! Через шесть месяцев мы можем уехать.

Крафт поднял голову.

— Вы думаете, подействует? — спросил он слабым голосом.

— Ну, еще бы! — Заморзин подошел к окну. — Догорает! Вот только проклятые собаки спать не дадут.

Крафт налил стакан коньяку, залпом выпил его и, посмотрев минуту неподвижным взглядом на огонь лампы, сказал:

— Что же, если я получу свои деньги и уеду отсюда, то, пожалуй, уж это не такая большая жертва. Где моя скрипка? Я сыграю ему похоронный марш. Да отойдите от окна, садитесь и слушайте! Ну!.. Я начинаю.

ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА

— Нет, я не хунхуз. Я всегда был честным человеком и молился всем богам, какие только мне попадались от Кантона до Хабаровска и дальше до того места, где Черная река теряется в Великой воде. Я почитаю Небо, источник всего сущего и пребывание вечной мудрости; два раза в год хожу в вашу церковь и трачу деньги на свечи. Спросите толстого попа, который объезжает этот край от Уссури до Сихотэ-Алиня. Он скажет вам, что не было лучшего китайца-христианина, чем Ван-Лин. Вон там в углу стоит Будда, сделанный из моржовой кости, и пусть мое тело лишится погребения в родных полях, если я не заплачу за этого костяного бога столько денег, что за них можно было бы купить ведро самой лучшей водки. Кроме того, я поклоняюсь деревянному богу северных людей и угощаю его маслом, а когда сюда заходит шаман Энгер, он завывает в моей фанзе всю ночь и сжигает столько пахучей травы, что благовонный дым наполняет всю долину. Потом я совершаю поклонение ламзе, а когда во Владивостоке меня обманул странствующий человек и продал поющую и говорящую машину, уверяя, что в ней скрывается новый бог западных людей, я заплатил за нее сорок рублей и каждый день утром и вечером пел вместе с ней, пока она не состарилась и не начала кряхтеть и стонать, как издыхающий волк.

Лин-Ван благочестивый человек и за это боги послали ему награду!

Слушайте хорошенько, потому что мне нечего скрывать. Сердце мое чисто, как стекла, через которые вы на меня смотрите, и душа моя подобна лилии.

Я не могу вам лгать, потому что Ван-Лин есть только тень ваша, вы проходите мимо него, как облака во время муссона идут над земляным червем.

Из дверей фанзы вы видите всю долину. Нет, не поднимайтесь! не утруждайте себя. Я сниму циновку, чтобы вам лучше видеть. Теперь вся долина перед вами, и вы можете

рассматривать ее, как молодую девушку, которая села бы к вам на колени.

Она очень красива в своем зеленом наряде с желтыми и красными полосами, с сверкающими камнями, связанными блестящими нитями. Каждый камень — маленькое озеро, а жемчужные нити — мелкие ручьи, которые блуждают туда и сюда в густой траве, как заблудившиеся дети.

Она такая чистая и свежая, как будто ее сотворили сегодня утром, и стыдливо разворачивает перед вами синюю кисею туманов. Но пыль от ваших ног, Лин-Ван, говорит, что нет долины более лживой и губительной для человека, чем этот цветущий кусок земли, затерянный в лесах Уссури.

Нет ни одной тучи, которую она не тянула бы к себе, и как только в небе появляются облака, подгоняемые восточным ветром, они все ползут сюда, оттесняя друг друга и выливая в один день столько воды, что если бы она упала на горящий Пекин, то во всем городе не осталось искры, чтобы закурить мою трубку с опиумом.

Сначала земля жадно глотает потоки дождя, как пьяница, который с утра до вечера тянет рисовую водку. И трава начинает расти, как мысли у человека, отравленного хашином или опиумом. Вы, может быть, не поверите Лин-Вану, неспособному омочить кончик языка в море лжи, если он вам расскажет, что случилось с чиновниками, приезжавшими сюда для осмотра долин.

Было очень жарко. Утром они сняли свою одежду с блестящими пуговицами и разложили ее на высокой траве в десяти шагах от моей фанзы. Вечером, когда русские начальники собрались уезжать, оказалось, что вся их одежда исчезла. Они бранились, говорили, что я украл и спрятал их мундиры, предлагали деньги за вещи, так как не могли вернуться в город в одних рубашках. Но я клялся Конфуцием, Буддой и всеми другими богами, что не притрагивался к их вещам. Мы обыскали все заросли, лазили в ручьи и озера, — и все напрасно. Наконец, когда на другой день чиновники уехали, я увидел все четыре куртки и одни панталоны поднятыми выросшей травой на высоту двухэтажного дома.

Ничто не может дать вам понятия о могучей растительности этой долины. Пшеница достигает такой вышины, что в ней может скрыться стадо коров. Под листьями тыквы можно спать, а капуста растет, как дерево, с горой листьев на высоте человеческого роста. К концу лета капустные гряды похожи на пальмовые рощи в Кантоне и вы ничуть не удивитесь, если я вам скажу, что один переселенец, полезший на такое дерево за листьями, упал и сломал себе ногу.

Вы говорите, что я слишком много курю опиума и поэтому вижу все в увеличенном виде?!

Опиум только усиливает мое зрение, но не отнимает у меня разума. По великому милосердию Бога, муссоны, несущие потоки дождя, и жара продолжаются только два или три месяца. К концу этого времени вся земля, которую вы видите перед собой, превращается в глубокое болото, над которым шумят вершины таких трав, которые в других местах не скроют зайца от хищной птицы. Над травяным лесом качается черный ковер мелких мошек. Они носятся, как пыль, сдуваемая ветром, и способны проползать через стекло. Я не знаю, откуда является этот живой песок, но да позволено мне будет сказать, что он сыплется сверху, как толченый уголь из разорванных мешков. Когда они облепят ваше тело, да хранит вас Небо от этого, то кажется, будто вы попали под дождь искр, рассыпающихся от лесного пожара. Чтобы собрать фунт этой живой сажы, мало всей жизни. Почтенный Хан-Чанг, да продлится его жизнь, торгующий во Владивостоке шелком, так растолстел, что не мог входить в вагон. Китайский доктор хотел лечить его мошками, о которых я говорю, и мне поручили собрать фунт лекарства. Я ловил их зонтиком, халатами, оставлял на ночь открытыми двери фанзы и к утру распухал, как сам Хан-Чанг. Лучи солнца едва могли пробиться через завесу летающего лекарства; я растапливал печь, закрывал трубу и уходил, плотно завесив дверь и, когда возвращался, то при всех стараниях, собирал на полу фанзы половину ложки мошкар; высушенная, она помещалась на ногте большого пальца. Проработав все лето с таким трудом, как если

б я ловил китов от Сахалина до Камчатки, я набрал проклятой твари на один пластырь, который Хан-Чанг приклеил за ухом.

Они жалят, как огонь, неуловимы, как воздух, и неисчислимы, как слова людей, белых и желтых, сказанные от сотворения мира!

Вот такая земля перед вами! Но я еще не кончил, и если бы продолжал перечислять ее пороки, то, прежде чем дошел бы до конца, вы потеряли бы свою земную тень.

Буду поэтому краток, и срублю кедровую рощу, чтобы дать вам пригоршню орехов.

Тут есть сорок различных болезней, которые сменяют друг друга, как чиновники на докладе у Дао-Тая или у генерал-губернатора. Есть такие, от которых люди слепнут, от других все тело покрывается язвами, ноги и руки сводят судороги, так что, прежде чем разговаривать с больным, надо развернуть его, как распускающийся цветок, и найти голову; семь сортов лихорадок и три сорта болезней сердца.

Морозы... мой язык слаб, чтобы описать здешнюю зиму. Скажу только, что я сам видел тигра, который замерз в то время, когда сделал прыжок, чтобы убить охотника. Когда он упал к ногам человека, зазвенев, как брошенный на доску топор, в нем было не больше жизни, чем в той колоде, на которой вы сидите. Когда умер мой дядя Шен-Цин, я похоронил его в твердой, как камень, земле и, согласно обычаю, должен был два или три часа плакать на его могиле. Я был очень огорчен и слезы лились из моих глаз так же легко, как льется вода из глубины земли, — лились и сейчас же замерзали! Когда пришло время уходить домой, то я оказался прикованным к могиле двумя длинными ледяными столбиками вроде тех, какие спускаются весной с крыши. Я закопал эти слезы в могилу и они растаяли только через восемь месяцев, когда начался муссон. Вы знаете, что от холода трескаются деревья, но приходилось ли вам когда-нибудь слышать, чтобы мороз разрывал на части животных и птиц. Я видел, как два старых волка... Но буду краток. Если ничтожный Ван-Лин дал вам слабую

картину бедствий, испытываемых здесь человеком, то пусть ваше могущественное воображение, парящее над моим, как ястреб над кротом, дополнит остальное.

И вот ваши чиновники, в дни затмения своего, нашли, что долина, лежащая перед вами, совершенно пригодна для жизни переселенцев.

Уже пятый год, как перед началом муссонов я вижу спускающиеся с перевала возы, нагруженные мешками, ящиками, плутами и всем прочим, что нужно для устройства поселка. За возами тащатся мужчины, женщины и дети, ожидающие найти здесь вторую родину. Вы говорили, что обогнали их сегодня утром и нарочно свернули с дороги, чтобы взглянуть на место поселения. Смотрите, осматривайте, но эта земля обманет вас, как обманула многих.

Там внизу стоял столб, к которому чиновники прибили доску с надписью «Благодатный поселок». И доска, и столб давно исчезли, как исчезают здесь все дела рук человеческих. Если бы в этой проклятой долине поставить крепость или железный мост, то через два года от них осталось бы не больше, чем от трупа лошади, обглоданного тигром и волками, и еще через год вы не могли бы найти вашу крепость даже с теми стеклами, через которые чиновники рассматривали мух, жуков и грязь из озера.

Я строю свою фанзу по частям, шесть или восемь раз в год, но она стоит на горе, а не на дне болота, как «Благодатный поселок» или то, что должно называться этим превосходным именем.

Если вам не надоело слушать болтовню старого Ван--Лина, который знает, что язык белых людей подобен жалю пчелы, погруженному в цветочный мед, и стыдится своего несовершенного орудия для передачи мысли, то я расскажу вам, что происходит в этой проклятой долине каждый год с такой же правильностью, с какой возвращаются дожди.

Спустившись с перевала, переселенцы принимаются за работу. Они косят, пашут, копают, сеют, сажают, как делали бы это благоразумные люди на плодородной земле. После первых дождей силы земли начинают действовать, как

большая паровая машина на пожаре, которую я видел во Владивостоке, когда горели лесные склады, и гонят воду в стебли трав с такой силой, что все растения заболевают водянкой, пухнут, вздуваются и, обгоняя друг друга, забыв о своем естественном природном росте, бегут кверху. Переселенцы сначала радуются чудесному плодородию почвы, и какой-нибудь бедняк, высадивший меру картофеля, начинает думать, что он в состоянии прокормить своим урожаем все население Хабаровска и еще останется сотня вагонов. Он не знает, что его картофельный куст, вздымающийся, как орешник, и дающий приют певчим птицам, так же мало может кормить человека, как палка, воткнутая в землю.

Дождь с каждым днем усиливается. Трава полегает и чернеет на корню, озера выползают из берегов и блуждающие воды с песнями странствуют по всей долине, как заблудившийся пьяница. Переселенцы уходят все выше и выше, но их догоняют болезни. Сначала лихорадки, все семь сортов, потом являются и остальные.

К началу зимы «Благодатный поселок» покоится на глубине озера, на такой глубине, что в некоторых местах нельзя достать до земли, связав все веревки, какие только есть у жителей. И в то же время на берегу растет кладбище. Сначала умирают дети, потом мужчины среднего возраста и женщины, дольше всех держатся почему-то старики. Кого не трогают болезни, те разбегаются и тонут, спасая свои запасы, или становятся добычей тигров и хунхузов, которые, — Ван-Лин не будет скрывать истины — появляются здесь каждую осень.

Наконец приходит зима и я остаюсь один, сделавшись наследником всего имущества вымершего поселка. Так повторяется из года в год. Но уверяю вас, господин, что остается от них немного. Не стоило бы жить из-за этого в таком проклятом месте, если бы я знал, куда уйти.

По спискам чиновников здесь теперь должно быть триста семей, тысячу человек и даже немного больше! Но если вы будете ходить от восхода до захода солнца и найдете хотя бы одного живого переселенца, я отдам себя на съедение подлому волку Ин-Шану, питающемуся трупами, ко-

торые он выкапывает из могил, и падалью. Когда я был в Хабаровске, один толстый начальник спрашивал меня, хорошо ли живут переселенцы, и приказал доставить им пуд двадцать фунтов книги «Борьба с пьянством».

Я выбросил все книги в Уссури, потому что кто же поверит Ван-Лину, если он скажет, что все они, и пьяные и трезвые, давно сгнили в земле, кроме, конечно, выкопанных старым негодяем Ин-Шаном.

Не купите ли вы у меня что-нибудь? Не хотите? Не гневайтесь на недостойного червя, ползающего у ваших ног. Я собираю только то...

Вот они спускаются с горы. Вы сказали, что опередили их на два часа? Они ехали быстро, потому что на этой дороге нагруженная телега раскачивается, как джонка в бурю.

Мы вышли из фанзы. Солнце золотило долину, как поле, готовое для жатвы. Звенели бубенчики, слышался веселый говор; в траве замелькали ситцевые рубашки и кумачовые юбки.

— Здравствуй, Китай! — крикнул кто-то снизу Ван-Лину. — Соседи приехали!

Ван-Лин улыбался и считал повозки. В кустах орешника рядом с фанзой мелькнула тощая фигура волка Ин-Шана. Он обменялся быстрым взглядом с Ван-Лином и бесшумно исчез.

Тяжелая мокрая ветка колыхнулась за ним раз-другой, блеснула золотом, рассыпала алмазные капли и замерла над влажной, горячей землей.

КОНЕЦ ИСТОРИИ СОЛНЕЧНОГО НАРОДА

I

Нет страны древнее Сойотии. Она тянется на юг узкой полосой между белыми раскаленными пустынями и дугой Саян, на склонах которых в черной чаше лиственниц и пихт рождаются потоки, умирающие в песках и красных глинах у подножия гор.

Солнечный свет здесь так ярок и воздух так хрустально-прозрачен, что альпийские травы и цветы спускаются в степи и сухие, колючие кустарники, блеклые и пыльные, окружены яркими цветами, отразившими все краски неба, огненные, пылающие закаты, сумеречную синеву горных вершин и золото первых утренних лучей, скользящих на горах по снежным полянам. Сойотия одета и напоена светом, как алмаз, затерянный на грани черной сибирской тайги и серых песков пустыни.

Люди здесь всегда поклонялись великому Солнцу, источнику всего живущего, с которого пришли на землю их предки. Высокие камни, затерянные в степных зарослях, глубоко ушедшие в песок, исчерчены изображениями великого светила. На могильных памятниках умершие возвращались к Солнцу, началу и концу всего живущего. Сойоты насчитывали сорок тысяч лет с того времени, когда первые люди поселились в солнечной стране, ни больше, ни меньше, и поэтому дети Солнца, являющиеся в праздничные дни за покупками в Минусинск или в пограничное село Усу, с нескрываемым презрением смотрят на русских, на татар и китайцев.

В белых длинных рубахах, сойоты молча сидят около лавок, украшенных полосами красного и желтого кумача, и с улыбкою смотрят на окружающую их суету. В Минусинском музее хранится золотая монета эпохи Александра

Македонского, которую один из этих древних людей предложил за купленную им соль на базаре. Две или три тысячи лет — это очень короткий промежуток времени и только люди, приходящие с севера, думают иначе. В горных долинах и на границах с пустыней лежат плиты из твердого, красноватого камня, на которых высечены изображения ассирийцев в остроконечных шапках с четырехугольными бородами. Прошло уже семь тысяч лет с того времени, как приходили эти люди в страну Солнца; немного раньше появились китайцы из великой пустыни на юге, и с того времени ничто не изменилось в горных долинах. Солнце золотит блистающую корону снегов, которыми покрыты отдельные вершины. Широкими взмахами уходит Енисей в каменном русле под скалами, похожими на брошенный город. Весной степь покрывается голубыми ирисами, под которыми журчат хрустальные ручьи, колючие травы и кустарники бросают прозрачные тени на старые могилы и вдоль заброшенных дорог тянутся высокие каменные столбы с вырезанной на них историей древнего народа. Не изменились и сами сойоты. Когда приходили ассирийцы, они жили так же, как живут теперь.

Люди, познавшие высшую мудрость, избегают тяжелой работы и проводят время в созерцании, в мечтах и воспоминаниях о прошлом. Немного плодов и ягод, собранных в одичавших, заброшенных садах, горсть зерен, кусок грубой ткани — вот все, что нужно сыну Солнца.

В Сойотию можно пробраться только по крутым горным тропинкам, через которые с громом и шумом перебрасываются пенистые лесные потоки. Пограничное русское село Уса отделено от Солнечной страны бездорожным лесом, в котором кедровые и лиственничные спускаются на дно глубоких оврагов или устало разбредаются по крутым каменным склонам.

Однако полтавские и пензенские мужики, в поисках за свободными землями, пробрались через тайгу и горы и вместе со своим скарбом очутились в самом сердце древнего мира, с его мудрым населением, не желающим отличать правой руки от левой. Земля тут, действительно, была воль-

ная, так как для русских чиновников Сойотия оказывалась «за границей», а китайцы забыли об этом уголке, отделенном от них непроходимой пустыней.

Сойоты встретили русских так же равнодушно, как обомшелая древняя скала встречает набежавшую волну.

— Приходили ассирийцы, персы, китайцы; докатывались остатки войск, собранных Александром Македонским для покорения мира, — и все они ушли, исчезли, как пропадает вода в песках пустыни. Пусть пройдут и люди с севера, как проходит луч солнца на поверхности потока, тень над степью от пролетающей птицы.

Столкновения между пришельцами и детьми Солнца начались только тогда, когда мужики стали валить вековой лес и убирать с полей могильные камни. Сойот Ван-Ган, одетый в праздничную белую рубаху, в сопровождении трех старшин племени, явился на берег речки, где жили русские, и обратился к ним с цветистой речью.

— Мы заняли эту страну, когда горы были в два раза выше, чем теперь, и леса выходили далеко в пустыню. Мы были уже стары, когда ваш народ еще не существовал, и теперь перед нами вы все, приходящие с севера, то же, что мелкая трава у подножия тысячелетнего дерева. Мы не запрещаем вам жить здесь, собирать плоды, размышлять и писать на камнях ваши короткие мысли, но не трогайте леса и земли! Они наши с того времени, когда с Солнца спустились первые люди.

Долго и хорошо говорил Ван-Ган, но речь его не произвела на пришельцев никакого впечатления.

— Тут земля ничья! Иди и жалуйся!..

Ван-Ган подумал и ответил:

— Я буду жаловаться предкам.

— Кому хочешь! Нас отсюда теперь никто не сгонит: мы первые расчистили лес и будем рубить его дальше, пока не засеем все хлебом, от горы до лесков. Кончилась ваша Сойотия!

Ван-Ган не знал, как ему поступить. Всякое насилие запрещалось законом предков, но по преданию сойоты исчез-

нут, когда упадут старые деревья и камни с древними надписями будут сдвинуты с своих мест.

Русские начали пахать, и жирная земля покрылась первыми глубокими бороздами, сбегавшими по склону горы от древнего кладбища до ручья.

Сойоты долго думали и, наконец, решили затопить поляну, занятую русскими. Они загородили ручей, дождались, пока вода в искусственном бассейне поднялась в рост человека, и ночью разрушили плотину. Мутный холодный поток ринулся с гор, ломая деревья, выворачивая камни, и в несколько минут смел начатые постройки, стога сена, закрыл песком вспаханное поле.

С этого времени в стране Солнца, затерянной на границе двух великих пустынь, началась беспощадная война. Здесь некому было судить, некому решать, на чьей стороне справедливость и право.

Только Солнце, великое, вечное светило, заглядывая миллионами глаз в чашу леса, видело, как древние люди, словно стая белых птиц, прячась в расщелинах скал и густой зелени, плотным кольцом окружали новый поселок, следя за каждым шагом переселенцев, и как русские медленно расширяли свои владения, углубляясь все дальше и дальше, под густые своды векового леса.

II

В жаркий июльский день над Саянами прошла гроза. Холодный ветер и потоки мутной воды, обгоняя друг друга, ринулись в Солнечную долину. С горами песка и щебня в русский поселок спустился, подгоняемый бурными северными вихрями, господин Кравчинский, бывший помещик, антрепренер, шулер и золотоискатель.

Отворив или, вернее, отставив дверь, закрывавшую вход в крайнюю избу, Кравчинский снял фуражку с красным околышем и, всматриваясь в темные углы, крикнул звонко и повелительно:

— Здравствуйте, ребята! Принимайте барина.

Через час он сидел за столом, ножки которого были врыты в землю, что придавало ему вид первобытной постройки, пил водку, закусывал медвежьим окороком, моченой черемшой и снисходительно слушал рассказы о сойотах, о спорах за землю и леса, о богатстве Солнечной долины.

Громче всех переселенцев кричал старик Липат. У себя на родине, в Полтавской губернии, он тридцать лет сидел на мельнице, под которой между вербами, в глубоких омутах водились золотистые караси и жил корявый, глупый черт. Этот черт долго вел борьбу с Липатом и наконец выгнал старика в Сибирь, на Амур, оттуда перекинул в Акмолинскую степь и гнал его дальше, до Саян, до Китая, до границ мертвой пустыни.

— Теперь идти некуда, и жил бы тут, — говорил Липат, — а они гонят, твердят, что сорок тысяч лет на этом месте сидят! а ты докажи, что сделал за тысячу лет. Камни не трогай, потому что закон не позволяет, а как же человеку без хлеба?

Маленькая седая борода Липата тряслась от скрытой злобы и, спеша высказать все, что у него наболело в душе, он дергал Кравчинского за рукава, садился, вскакивал и не давал никому говорить.

— Постой! кто это они? — спрашивал Кравчинский, играя брелоком цепочки из нового золота.

— Сойотия, вот кто! — кричал Липат. — Разве это порядок! Мы целину поднимали, а они ее с горы водой залили...

Заговорили все разом, но у Кравчинского составилась уже готовый план, смелый и широкий, как все те планы, которые выгнали его из старой усадьбы и кружили по свету, от Петербурга до Тихого океана.

— Слушайте меня, пусть кто-нибудь сходит к сойотам и позовет сюда... Ну, кто у них там, король, что ли. Скажите этому королю, что его начальство требует.

— У них, у сойотов, старик Ван-Ган, но только он к нам не пойдет! — ответили из толпы.

— Я ему покажу, не пойдет! — вскипел Кравчинский, — есть у них оружие?

— Никак нет, они палками и камнями, и так наловчились, что если где орех или яблоко, так не целясь попадают.

Кравчинский достал из кармана револьвер и сказал медленно и торжественно:

— Теперь я тут распоряжаюсь. Поняли? Вы знаете, что бывает тому, кто противится власти? Знаете, откуда идет власть?

— Орел! — радостно зашептал Липат. — Этот уж не спустит, оставит порядок...

— Тише! — крикнул Кравчинский. — Вот вы трое, берите ружья. Ну, марш! — Кравчинский выпил две рюмки водки и двинулся к двери.

Сойоты еще издали увидели направлявшихся в их сторону, через лужи и камни, кучку вооруженных людей, и трусливо спрятались в лесную чащу. На поляне рядом с каменной летописью, начертанной на древних могильных плитах, остался один Ван-Ган. Он стоял, опираясь худым телом на обломок скалы, и казался таким же древним, как леса и камни за ним.

В лице и фигуре старика было столько величия и благородства, что каждый почувствовал бы невольное уважение к этому человеку, готовому защищать свой народ, религию и могилы.

Но Кравчинский привык всегда и везде видеть только себя, и в эту минуту он отдал бы год жизни за то, чтобы зрителями были не трое полтавских мужиков в высоких сапогах, с дешевыми берданками в мозолистых руках, а хотя бы та публика, которая обиралась в клубе, где он два года счастливо играл в карты.

— Надо бы поосторожнее, — сказал отставной солдат Ефим. — Как бы из леса камнем не хватили!

Но Кравчинский умел быть смелым. Он даже не взглянул на стену высоких лиственниц, на которых заходящее солнце развесило золотые щиты.

Встреча двух великих людей, от которых зависела участь древнейшей страны в мире, произошла около белого мо-

гильного памятника, имевшего форму лодки с отбитой кормой. По одну сторону камня стоял Ван-Ган, по другую Кравчинский. Минуту они молча смотрели друг на друга.

У сойота выражение лица было спокойное, как на тех изображениях, которые с окружающих скал тысячами глаз наблюдали за этой сценой. Красное лицо Кравчинского было сурово и только в серых близоруких глазах мелькало скрытое беспокойство.

— Мы вас не просили сюда, — сказал сойот. — Эта земля наша, и лес и вода!.. Когда еще ни одного человека с севера не было на Енисее, сойоты жили здесь так долго, что исчезла память об их первом поселении.

— Довольно болтать! — закричал Кравчинский, — давай сюда бумаги, я их рассмотрю и скажу, имеете ли вы право владеть землей.

— Сойоты пишут на камнях, — у них нет бумаги.

— Вот как, — растягивая голос и презрительно сощутив глаза, сказал Кравчинский.

Правую руку он заложил за борт сюртука и время от времени бросал взгляды на свое изображение в ясной луже, в которой утонули облака и опрокинутые деревья.

— Какие же это документы пишутся на камнях? Попался, старый плут! Я тебя научу законам! Ведите его в поселок!

Так как сойот не выказывал ни малейшего желания подчиниться приказанию, а мужики нерешительно переминались с ноги на ногу, посматривая на плотную чащу леса, то Кравчинский не торопясь обошел памятник, разбрызгивая воду тяжелыми сапогами, взял старика за мокрый рукав рубахи и толкнул к Ефиму.

Два десятка сойотов, как стая вспугнутых птиц, выбежали из леса, что-то кричали и грозили, но Кравчинский махнул им рукой и медленно удалился вслед за Ван-Ганом, которого вел Липат.

Рано утром на другой день, когда еще от островерхих камней и деревьев тянулись длинные тени, к русскому поселку из леса направилось торжественное шествие.

Впереди шел племянник Ван-Гана, молодой Син-Тан, часто бывавший в Минусинске и считавшийся самым образованным человеком во всей Солнечной долине. Син-Тан, тайком от своих соплеменников, заглядывал в кинематографы, любил слушать в трактирах граммофон, несколько раз напивался водкой и пивом и даже ездил на пароходе по Енисею. За Син-Таном шли мужчины, потом женщины и дети. У всех в руках были желтые и белые цветы, которые сойоты считают цветами бога Солнца.

Кравчинский сидел у дверей и молча смотрел на шествие. За ним с ружьем в руках стоял казак Корсак, маленький, рябой, с постоянно улыбающимся лицом.

Син-Тан поклонился, подал руку Кравчинскому и начал говорить речь, которою, как он сам знал, заканчивалась история его народа.

— Мы все пришли к начальнику просить его отдать нам старого Ван-Гана. Без него мы не можем молиться предкам и совершать служения около солнечных камней. Если начальник отдаст Ван-Гана, мы согласны навсегда уступить вам захваченную землю, с тем, чтобы вы не шли дальше.

Кравчинский пошептался с Корсаком и пригласил Син-Тана в избу.

— Всему приходит конец, — сказал Кравчинский молодому сойоту, когда они сели за стол. — Может быть, вы тут и жили от сотворения мира, как живут птицы, но ты человек просвещенный и знаешь, что такого беспорядка допускать нельзя. Выпей водки и поговорим.

Син-Тан с удовольствием посмотрел на стакан.

— Ван-Гана я вам не отдам потому, что он вредный человек-агитатор, но зато я назначу тебя старшиной.

Син-Тан выпил водки и подумал.

— Без Ван-Гана мы не умеем молиться!

— Ну, уж это ваше дело! У тебя будет мундир, в котором не стыдно показаться в Минусинске или Красноярске, и водки сколько хочешь.

— Я подумаю до вечера, — ответил Син-Тан.

— Хорошо, но если бы ты не пожелал, тогда я выберу другого старшину, а тебя заставлю работать с утра до вечера.

— Могу я взять водку? — спросил сойот и, не дожидаясь разрешения, спрятал бутылку под рубаху.

Когда сойоты ушли, Кравчинский занялся хозяйственными делами. Он осмотрел пашни, просеки, выбрал место для постройки своей усадьбы и заставил мужиков сложить из бревен, глины и древних камней тюрьму для Ван-Гана, в которой оставалось еще место для четырех или пяти человек. Вопрос о мундире для Син-Тана разрешился самым блестящим образом. Корсак служил когда-то почтальоном и у него сохранилась потертая черная куртка с белыми металлическими пуговицами и желтыми кантами.

Когда солнце заходило за Саяны и золотая пряжа его лучей окутала уснувшие лиловые склоны и леса на вершинах, Син-Тан в почтовой куртке стоял в толпе сойотов и громко восхвалял жизнь, идущую с севера.

А когда последний сверкающий луч великого светила порвался над снегами, рассыпался искрами и погас, окончилась история древнейшего народа, и в Солнечной долине установился новый, твердый порядок.

КОРАБЛЬ МЕРТВЫХ

Земля без борьбы и шума исчезала под тусклой водой, в которой не было отражений света и теней. На черные горбатые холмы испуганно вбежали деревья и кустарники, перепутавшие гибкие, длинные ветви, навалились друг на друга и, окутанные слепыми туманами, медленно уходили под мелкие волны.

Там, где был Амур, в черной вспененной воде мимо нас плыли, извиваясь гибкими телами, длинные змеи; они кружились в пене под берегом так быстро, что трудно было усмотреть за их движениями, разворачивались, вытягивались, уходили в глубь и неожиданно всплывали, высоко взбрасывая волны и космы седой пены. По середине реки, обгоняя друг друга, двигались драконы, направляясь то к одному, то к другому берегу, сталкивались с кружащимися в водоворотях змеями, метались и бились на всем необъятном просторе реки, от русского берега до сумеречного Хингана, в ущельях которого всегда лежат туманы и дремлют густые тени ночи.

Две недели дул восточный муссон, нагнавший столько туч, что небо стало черным, как распаханное поле.

Дождь день и ночь шептал что-то напоенной водой земле. — Каждая капля унесла с собой с поверхности океана смутное воспоминание о грозном шуме волн, и теперь они миллионами слабых беззвучных голосов лепетали Амуру и зеленой пустыне о реве и шуме на просторе широкого моря.

Над размытой землей и тусклой водой ползали прозрачные туманы в печальных ответах, принесших, как и дождь, далекое воспоминание о тех берегах, с которых они двигались, гонимые восточными и северными ветрами и бурями.

Мы с Ван-Фангом дожидались парохода на широком пустынном мысе, с двух сторон которого в бешеных извивах кружился Амур, а с третьей медленно росло плоское озеро, затянутое сеткой дождя.

Тяжелый груз Ван-Фанга был разложен на берегу под открытым небом. В два ряда стояли шестнадцать больших ящиков вроде тех, в каких возят яблоки. Стенки их были с широкими щелями, из которых торчали пучки мокрой соломы.

В ящиках лежали шестнадцать китайцев, трупы которых Ван-Фанг везет на родину, в Чифу.

Он сидел на мокрой глине около своего мертвого груза, важный и неподвижный, охватив колени худыми руками и опустив глаза к земле, не обращая внимания ни на дождь, который барабанил по крышам ящиков, ни на Амур, медленно поднимавшийся к вершине обрыва.

Сморщенное желтое лицо китайца казалось страшно древним.

Сколько лет было этому человеку? Пятьдесят, а может быть, триста или пятьсот. В глазах его светилась чуть заметная лукавая усмешка, а худое желтое тело не способно было испытывать ни утомления, ни страдания.

Парохода не было, или он прошел в тумане под стеной Хингана. У берега в пяти шагах от нас стояла широкогрудая пустая джонка с толстомордым драконом на носу, обрубленной кормой и парусами из мочалы, которые лениво трепал ветер.

Я не мог сидеть или лежать неподвижно, как Ван-Фанг и шестнадцать мертвых китайцев. Если нет парохода, можно попытаться переплыть на этой джонке: на высоком берегу нам нечего было бояться дождя и бешеной реки.

Ван-Фанг отрицательно покачал головой.

— Джонку перевернет. Два человека не могут справиться с черной рекой.

— Но что же нам делать?

Острые плечи китайца, к которым прилип бумажный халат, чуть заметно поднялись.

— Ничего не делать.

— Ну, а если Амур поднимется еще выше? Ему остается вырасти на пол-аршина, чтобы проглотить нас всех, и живых и мертвых.

— Да. Остается немного. Шибкая вода.

Мне очень не нравилась покорность Ван-Фанга.

Он способен был спокойно дожидаться, пока косматая вода хлынет на клочок берега и закружит его самого и его ящики. Непонятно было, как этот маленький древний человек мог прожить с своей тупой покорностью, десятки лет скитаясь по безвестной тайге, полной опасностей, разыскивая свой мертвый груз от берегов Тихого океана до Байкала.

Угадывая то, что я подумал, Ван-Фанг поднял на меня свои маленькие глаза и сказал:

— Человек умирает, когда не хочет жить. Кто хочет жить, тот не умрет.

— Вот как! И думаю, что Амур совсем не будет справляться с тем, хотим мы жить или нет. Он проглотит нас, как ветку.

— Дождь, Амур, туманы, все это большой сон, — ответил китаец. — Есть два сна: один настоящий, другой как вода. Ты боишься потому, что тебя обманули видения. Я не боюсь и они не боятся, — Ван-Фанг указал на ящики.

— Ну, им-то нечего бояться! Не попробовать ли нам спуститься на джонке ниже? Может быть, найдем какой-нибудь бугор, куда не достает вода.

— Когда придет время, — ответил Ван-Фанг все с тем же раздражавшим меня спокойствием.

Быстро сгущались лиловые сумерки. Не было уже видно середины реки, где плыли горбатые драконы с иззубренными спинами.

Черные скрутившиеся змеи под берегом поднялись еще выше и, сидя на грязной земле, я видел их извивающиеся тела; слушал, как тихо и ласково сосет вода желтую обвалившуюся глину. Но страха смерти не было. Казалось невозможным и нелепым, чтобы через час или два я был таким же неподвижным трупом, как те шестнадцать китайцев в ящиках.

Мокрая одежда прилипла к телу, ноги давили тяжелые ботинки в комьях грязи. Я сидел под мокрыми кустарниками и думал, что, может быть, Ван-Фанг и прав.

Все это мне снится. Потом придет другой сон и в том сне я буду жить в Китае, Индии или где-нибудь еще, и смутно, как дождь, нашептывающий о шуме моря, вспоминать полузабытые берега, Амур, тайгу, далекую Россию, родную степь, где летом в сумерки в прогретой за день пшенице кричат перепела, по пыльным дорогам идут косари в белых рубашках, где в камышах горланит страстный хор лягушек, густой стеной стоят подсолнечники. Они весь день повертывали свои желтые лица вслед солнцу и теперь смотрят на запад; теснятся несметной толпой, как народ, заблудившийся в пустыне.

Все это станет сном. И мне было безумно жаль того сна, который я вижу тридцать с лишним лет.

— Эй, Ван-Фанг! вода все прибывает, надо уходить!

Китаец не ответил. Он возился около своих ящиков; сквозь всплески реки я услышал визг гвоздей.

— Что ты делаешь?

— Надо поднять крышки. Если черная вода пойдет на берег, эти люди должны встретить ее с открытыми лицами.

Китаец выбрасывал намокшую солому и что-то бормотал, низко наклоняясь над ящиками. Любопытство пересилило у меня страх. Я подошел ближе и взглянул на мертвый груз Ван-Фанга.

— Все эти люди, — сказал китаец, — видели в последней жизни плохой сон. Вдали от родного дома они скитались по тайге; голодали, мерзли, мокли под дождем, и пойдут в новую жизнь, увидят новый лучший сон. Теперь они последний раз спешат к родным полям, где их давно ждут. Но, если черная вода унесет Ван-Фанга, они не будут на него сердиться, потому, что он хорошо делает свое дело.

— Уедем отсюда, — настойчиво повторил я. — Джонка прочна, и на ней можно выбраться к другому берегу.

Ван-Фанг ничего не ответил и молча уселся рядом со своими трупами. Они лежали, обращенные лицами к Амуру и, казалось, жадно, как и мы, слушали отвратительный захлебывающийся шепот воды под крутым берегом.

Было так темно, что я едва различал фигуру Ван-Фанга и тяжелую чащу кустарников, свисавших над водой.

Человек уверен в своем бессмертии сильнее, чем в том, что дважды два четыре. Никто и ничто не может лишить его этой уверенности, и поэтому солдат, который, цепляясь окровавленными руками за колючую проволоку, идет в атаку, так же далек от мысли о своем полном уничтожении, превращении в ничто, как и тот, кто после трудового дня спокойно ложится в свою постель.

На осыпавшемся клочке земли, охваченном бешеной рекой, я все еще не мог представить себе конца. Что-то должно было жить, и никакие волны не могли смыть и унести в разверстый мрак то вечное, что хотело и должно было жить.

— Ну, наш сон плохо кончается! — сказал я Ван-Фангу или кому-то другому.

— Их было много, — равнодушно ответил китаец, — не надо жалеть...

Он вдруг замолчал и потом что-то с волнением заговорил по-китайски. Я не мог понять, к кому он обращается. Все так же лениво хлестала вода в Амуре, все так же кто-то сторожил нас в темноте, в чаще под кустарниками и на широком просторе реки.

— Скорей джонку! — закричал неожиданно Ван-Фанг, испуганным, дрожащим голосом. — Помогите мне поднять их! — он указал на ящики.

— Но ведь таким грузом мы потопим лодку.

— Скорей! скорей! — твердил Ван-Фанг, бегая по берегу, как испуганная ночная птица. — Вот здесь лежит И-Кан. Его ждут дома пятеро детей. Он хочет, чтобы они видели его тело, прежде чем он уйдет.

Вода все прибывала. Казалось, кто-то дикий и разъяренный мечется в гулком мраке, разыскивая тот клочок земли, на котором были мы все, мертвые и живые.

— Скорей, скорей!

Я поднял за один конец мокрый ящик и, осторожно ступая по глине, скользя и обрываясь, пошел к лодке. Дальше мы работали в воде. Ван-Фанг выказал такую силу, какую нельзя было ожидать в его маленьком, худом теле. Я спотыкался, падал, расцарапал себе до крови руки о гвозди, и,

наконец, обессиленный, опустился на скамейку в лодке, которая так прыгала и качалась на волнах, что ящики ползли с одной стороны на другую, сталкивались и наваливались друг на друга.

Ван-Фанг перерезал веревку и джонка, подхваченная жадным течением, быстро понеслась к середине реки. Через низкие борта хлестали потоки воды; намокший парус тяжело ворочался и казался злобным существом, которое наваливается мягким телом на меня и Ван-Фанга и напрягает силы, чтобы выбросить нас в певучую, кружащуюся реку.

Тяжелый мрак был полон движения, шороха, каких-то странных голосов, шедших снизу и с боков, перекликавшихся на непонятном языке. Мы то кружились в водоворотах и тогда джонка плыла боком, так что приходилось цепляться за скамейку, то неслись к середине реки и скользили, как в санях с ледяной горы.

Я сидел в тесной дыре между кормой и ящиками, придавленный парусом, оглушенный ударами и толчками, ревом и шумом, уносившей нас воды. Китаец медленно прошел вдоль борта и встал у руля. Я видел полы его халата, раздуваемые ветром, и худые ноги, облепленные комьями грязи.

— Ван-Фанг! — крикнул я и ветер подхватил звуки моего голоса. — Ван-Фанг!

Китаец на руле молчал, но кто-то ответил с другого конца лодки:

— Нельзя говорить! Смотри и молчи.

Я приподнялся опираясь руками о корму, и увидел в двух шагах от меня посредине лодки чью-то высокую черную фигуру и рядом с ней другую. Они сидели, низко склонив крепкие, широкие спины, и мерно поднимали длинные весла.

Люди эти были так близко, что если бы я протянул руку, то мог прикоснуться к их широкополым шляпам и мокрым халатам.

Но страх, перед которым исчезла опасность утонуть в бешеной реке, не позволял мне сделать ни одного движения. Слух и зрение обострились до такой степени, что сквозь завывания ветра под стеной Хингана я отчетливо слышал,

как скрипят весла в уключинах, как переливается вода на дне лодки под ящиками; видел или угадывал, что должен был видеть, лицо китайца на корме. Оно казалось мне хорошо знакомым. Неожиданно я вспомнил И-Кана! Я долго смотрел на его широкий лоб, большие, крепкие скулы, когда мы переносили ящики в лодку.

Свернулся или упал сорванный ветром парус. Кто-то стоял рядом со мной, указывая гребцам куда-то вправо, в мечущийся и ревущий мрак под скалами. Лодка скользнула мимо двух зубцов, глубоко выставившихся из воды, черпнула полным бортом, медленно прошла под деревьями, цепляя мачтой за ветви и, вздрогнув, остановилась, уткнувшись носом в песок.

Я позвал Ван-Фанга и, не дождавшись ответа, прыгнул на хрустящий песок. С невыразимой радостью ухватился за гибкие ветви, за неподвижные камни.

— Я здесь! — крикнул снизу Ван-Фанг, оттуда, где я видел мерно раскачивающуюся вершину тонкой мачты. — Надо привязать джонку. Вода может еще подняться.

Через час мы сидели у костра, в который валили целые деревья, сломанные бурей.

— Пусть он горит выше и ярче! Пусть радостно пламя осветит весь мрак ночи, черную реку и тот далекий берег!

Прямо перед нами была стена Хингана, вся в зеленых кудрявых шапках, по которым плясали отблески света. Внизу, освещенная до мельчайших подробностей, качалась джонка со своим мертвым грузом. Рядом с ней на черной морщинистой воде горело пурпурное пятно.

— Теперь наш сон будет продолжаться, — сказал я. — Амур сюда не достанет.

Мудрое древнее лицо Ван-Фанга улыбнулось.

— Да, мы были между двумя снами, но наше время еще не пришло.

ОСОБЕННЫЙ ВКУС СТРАНЫ

I

— Страны, как напитки и кушанья, бывают очень различного вкуса — пресные, соленые, горькие, от которых щиплет во рту и выступают слезы; бывают земли ядовитые, как укус скорпиона, но есть и такие, отравы которых приятна и входит в человека легко и свободно, как вот эта смесь спирта и коньяка, одобренная лимоном и ванилью! Так ли я говорю?

Пассажир из каюты № 17 выпил большую рюмку чудесного напитка, который стоял перед ним в графине из розового стекла, и продолжал, обращаясь к № 13, молодому человеку, ехавшему на службу из Петербурга в Петропавловск.

— Вы окончили лицей (он сказал «ликей»), прочитали или краем уха слышали от других много вздора о климате, природе, инородцах, ископаемых и прочих богатствах этого края, и все это не поможет вам здесь вот настолько, — № 17 встряхнул рюмку, на дне которой оставалось несколько капель противохолерической настойки, помогающей, впрочем, и при холере, унынии и крушении всех надежд и упований.

Юный чиновник улыбнулся и спросил:

— Как же познакомиться со вкусом страны?

— Пробуйте ее! смакуйте, как остяки гнилую рыбу, — кончиками пальцев, языком; обоняйте ее запахи и когда вас начнет тошнить, будет довольно! Мне повезло больше, чем вам. Десять лет тому назад я первый раз ехал по Амуру, как теперь едете вы, с той, весьма существенной разницей, что вы знаете, куда и зачем едете, и в Петропавловске попадете в такую же канцелярию, в какой сидели бы и в Петербурге, а я тогда потерпел крушение, затонул на такой глубине, что вытащить меня на поверхность не могли бы все водолазы. В житейском море есть, знаете, такие неиз-

меримые пучины! Когда человек в сорок лет погружается в глубину, ему еще не хочется умирать и он пытается начать новую жизнь. Об Амуре я знал тогда побольше вашего. Настроение у меня было скверное и очень скоро у меня начались ссоры с капитаном парохода, бывшим лоцманом, матросом и парикмахером где-то на золотых россыпях на Витиме в то время, когда там каждый бродяга таскал за пазухой мешок с золотым песком.

Кто знает вкус Сибири, тот сразу поймет, что профессия брадобрея при таких условиях давала чертовские доходы.

С намытыми сокровищами, тщательно запрятанными в лохмотья, вы возвращаетесь из тайги на свет Божий и по пути заходите к цирюльнику, чтобы придать себе подобие человека и снять столько волос, что ими можно было бы набить пару подушек. За вами плотно затворяется дверь, и вы остаетесь с глазу на глаз с каким-нибудь беглым каторжником, вооруженным бритвой, который отлично знает, что вы нагружены золотом, как несгораемая касса в банке.

— Садитесь! будьте любезны, поднимите голову... еще немного! Благодарю вас, теперь довольно.

— Что вы делаете!.. Крккркр... хрхр... и все кончено.

Ваша душа парит над землей, а кауфер роется в лохмотьях, вытирает кровь, прячет золото и труп. Потом раскрывает двери, смотрит на пыльную дорогу, по которой бредут новые золотоискатели, и с любезной улыбкой приглашает:

— Пожалуйста бриться!

Все происходило именно так, как я вам рассказывал.

На Витиме у одного брадобрея нашли в подполье поминальную книгу, в которую этот благочестивый человек занес имена сорока убитых, и там же отыскивали их трупы. Ну так вот, капитан, о котором я рассказываю, был именно такого сорта парикмахером, но, должно быть, повел свое дело неосторожно, бежал с Витима и пристроился на пароходе, сначала в качестве матроса.

Ссоры у нас начались из-за буксирного каната, которым была причалена к пароходу огромная баржа. Канат этот на неудачных поворотах, как удав, носился по всему судну, сби-

вая с ног пассажиров, хлестал по бортам, выбивал стекла в каютах и наконец задушил одного почтенного лысого господина, никому не сделавшего ни малейшего зла.

Он умирал на наших глазах, раздавленный и истерзанный как муха, у которой отрывают лапки и крылья. Чаша моего терпения переполнилась. Я поднялся на мостик и сказал убийце, что отставной штабс-капитан Крымзов не позволит в своем присутствии давить людей, как бродячих собак. Посмотрели бы вы, что сделалось с бывшим парикмахером! От бешенства его широкое лицо начало менять цвета, как надувающийся мыльный пузырь. В одну минуту оно из красного стало зеленым, потом желтым и, наконец, синим.

— Здесь хозяин я, и никто не смеет рассуждать о моих поступках! — кричал он, захлебываясь от ярости.

— Вы не дагомейский король, и ваши прежние занятия в роли цирюльника не дают права...

— Я вам покажу свои права! — закричал капитан, и... что вы думаете, он сделал со мной? Ну вот вы, молодой человек, не знающий вкуса этой страны, ответьте на мой вопрос. Никогда не догадаетесь! Он немедленно высадил меня на необитаемый берег, и вслед за мной с лодки полетели чемодан, бутылка с коньяком и картонка с новой шляпой.

Пароход ушел, и в первый раз в жизни я понял справедливость мудрого изречения, что лестница бедствий человеческих нигде не оканчивается. Сколько бы вы по ней ни спускались, ниже всегда остается еще одна ступенька.

— Как же вы выбрались из этого положения? — спросил № 13.

— Как выбрался? Я поступил так, как поступил бы на моем месте каждый разумный путешественник: я решил двигаться от берега в глубь страны. Но вот тут-то и оказалось, что я имел такое же представление о крае, какое вы имеете о вкусе трепангов. Я еще не пробовал ее, и все свои знания основывал на книгах, а это все равно, что стараться опьянеть, изучая по энциклопедии действие вина.

По книгам полагается, что от берега начинается земля, и, так или иначе двигаясь по ней, человек стремится в глубь страны.

Я немедленно убедился, что все это вздор, вздор по крайней мере в этом крае. Во-первых, не было никакого берега, так как рядом с Амуром, отделенная от него небольшой грязной возвышенностью, начиналась другая река, за ней третья и так далее. Все они соединялись широкими протоками; всюду блестели озера, над болотами качались высокие травы, и вся эта земля, если ее можно назвать землей, была в каком-то полужидком состоянии, точно глина, замешанная для выделки кирпича. Во-вторых, никоим образом нельзя было уйти в глубь страны, так как Амур, рассыпавшийся на тысячу протоков, оканчивался неизвестно где, и я мог блуждать все лето, отыскивая выход из этого водного лабиринта.

И так я сидел в месиве из глины, на своем чемодане, и мне предстояло либо утонуть, либо умереть голодной смертью. Я выбрал первое, и, связав в узел платье, двинулся вниз по течению, переходя вброд мелкие протоки и переплывая глубокие. Через час я уже лишился своего узла, который смыли волны и унесли в Амур с такой скоростью, что, прежде чем я успел выбраться из воды, мое платье вылетело из устья притока и несло к китайскому берегу, к подножию мрачного Хин-Гана, ныряя в стремительных водоворотах. К счастью, погода стояла жаркая, хотя беспрерывно шел дождь, как он льет теперь.

Может быть, кто-нибудь другой и растерялся бы на моем месте, утратил необходимую бодрость, но я обладаю одним драгоценным качеством, — чем сильнее несчастья, постигающие меня, и чем они неожиданнее, тем быстрее вырастает моя энергия и сообразительность.

Подумайте только, я был голый, как яйцо, и находился среди пустыни, в которой вода, еще не отделилась от суши.

Тут я первый раз почувствовал истинный вкус этой страны! Избавлю вас от описания лиловых облаков, туманов, которые шатались по всей равнине, дождей всех сортов, барабанивших по деревьям. Я не желаю прибегать к тем

штукам, при помощи которых сочинители обманывают своих читателей, продавая им ложь в такой упаковке, которая придает ей вид действительности. Скажу сухо и без прикрас, — на три недели я превратился в земноводное существо: плавал, нырял и жил то в воде, то на земле, как черепаха или лягушка. Питался рыбой, кореньями, ягодами и зайцами, которые во множестве спасались на маленьких островках и боялись воды больше, чем меня. По правде говоря, я начал привыкать к такого рода жизни. Мучило только отсутствие табака и соли. Понемногу я подвигался все вперед и, наконец, выбрался к становищу гиляков, которые приняли меня очень радушно и снабдили меховой одеждой чрезвычайно простого покроя, вроде мешка с отверстиями для головы и рук. Эти добрые люди не имели никакого понятия о том, что лежало за пределами их болота. Все их сношения с цивилизованным миром ограничивались тем, что раз в год к ним приезжал становой пристав и собирал с них что-то вроде квартирного налога. Они не знали той страны, откуда являлся этот пристав, которого они называли «большим начальником», но исправно платили дань, размеры которой устанавливал по своему произволу все тот же пристав. В их жизни он был таким же неизбежным явлением, как тучи, комары, дожди и морозы. С этим ничего нельзя было поделать!

К моему счастью, пристав должен был приехать через две недели, и в течение всего этого времени я обучал гиляков русскому и французскому языку, употреблению ножей и вилок и даже танцам.

Если я сказал хоть одно слово неправды, то пусть до конца моих дней не выпью ни одной рюмки коньяку!

— Удивительно, — сказал молодой человек после небольшого молчания.

— Не удивляйтесь! История вроде этой была не со мной одним. В Благовещенске все знают о том, как тамошний начальник переселенческого управления, — слушайте, я называю все обстоятельства дела — лишился, подобно мне, при переправе через реку всей одежды и голый, искусан-

ный тучами комаров, опухший блуждал в девственном лесу, пока не наткнулся на охотников.

— Удивительно, — еще раз сказал чиновник. — Ну, а Камчатка, куда я еду? вы бывали там?

— Камчатка!.. Из окна губернского правления в Петропавловске вы не получите ни малейшего понятия об этой стране, и только, если с вами случится, от чего Боже вас упаси, такая история, какая произошла с стариком Пискуновым, вы будете знать, что такое Камчатка.

— Может быть, вы расскажете?..

— С удовольствием, но только перейдемте на палубу. Проклятый дождь, кажется, перестает!

Мы вышли из каюты и сели за столик на галерее парохода, куда матрос принес новый графин с коньяком для рассказчика.

Бледные лучи солнца скользили по темной зелени на берегу, блуждали по черной реке, отыскивая на воде и на земле такую полоску, на которой они могли бы рассыпаться в яркие краски, и, наконец, бросив бесплодные поиски, скрылись в серых тучах, похожих на стальные фермы гигантского моста, перекинутого через все небо.

— История, которую я буду рассказывать, — начал наш спутник, — сразу приготовит вас к жизни на Камчатке лучше, во всяком случае, чем все энциклопедические словари. Все разыгралось на моих глазах, точнее, я видел середину происшествия, но это все равно! так как конца никто не знает, а начало известно в Петропавловске сотне достоверных свидетелей.

Если вы будете смотреть на волны, молодой человек, то и я не стану рассказывать! Это происшествие такого сорта, когда от слушателей требуется полное внимание и большая доля воображения!

Я жил в ту зиму на стоянке Кой-Ран (по-русски — мерзлая земля) и по поручению одного американца занимался скупкой пушнины. Кругом расстилалась пелена твердого снега, которая в короткий день казалась синеватой, а вечером при заходе солнца окрашивалась в оранжевый цвет. Торговать с камчадалами очень трудно. Они запрашивают

за шкуры зверей ни с чем не сообразные цены и постепенно доходят до настоящей стоимости вещи. Все равно как если бы в мелочной лавке с вас спросили за фунт сахара тысячу рублей, и когда вы и продавец накричались бы до хрипоты, до звона в ушах и красных кругов в глазах, то получили бы товар за пятнадцать копеек.

Я, впрочем, не обижался, так как скука там была такая, что от нее дошли даже выносливые камчатские собаки. Торг происходил примерно таким образом.

В мою юрту являлся какой-нибудь камчадал, садился на корточки и бережно расстилал перед собой шкуру песка.

— Хорошо! Что ты желаешь получить за этот товар?

Камчадал закрывал глаза и, раскачиваясь справа налево, начинал вслух мечтать о всех тех вещах, которые он хотел иметь, или о таких, которые видел во сне.

— Ты мне дашь три ружья, бочонок водки, большое зеркало, дюжину ножей, сто локтей сукна синего и сто красного, ящик сальных свечей, лодку, сани, упряжку собак и двух жен и... — он на минуту останавливался, — отдашь мне такую шкуру, как эта!

Я брал песка и выбрасывал его на снег. За ним исчезал охотник, но через полчаса его голова в меховой шапке опять появлялась в узком отверстии, служившем дверью и вентилятором.

— Слушай, Пин-Тан (они звали меня Пин-Тан — красная рожа, но я не обижался).

— Слушай, Пин-Тан, мне не нужны жены, но зато ты дашь мне твои часы и два самовара.

— Убирайся! За твой товар ты получишь одну сальную свечу и полбутылки водки.

Охотник делал такой вид, как будто я его смертельно обидел, исчезал со своим песцом, но через час являлся с дядями, племянниками, тетками, женами, и все они начинали торговаться, перекрикивая друг друга. Я прибавлял для женщин их любимого лакомства — кусок или два яичного мыла, и дело кончалось. Мыло они съедали тут же, не выходя из юрты. Страсть их к этому тонкому лакомству была так велика, что я прятал обмылки и никогда не оставлял в

тазу мыльную воду, чтобы не возбуждать ссор или драк из-за этого напитка.

В то время, когда я занимался торговлей в глубине Камчатки, в Петропавловске готовилась экспедиция внутрь страны. Во главе ее стоял действительный статский советник Пискунов, присланный на свою погибель из Петербурга для обсуждения мероприятий по поводу введения в крае нового управления.

Говорят, что это был безобидный близорукий господин, немного глухой, постоянно улыбающийся и чрезвычайно решительный. На свою беду, Пискунов жестоко обидел лучшего погонщика собак, крещеного алеута, Яшку. — Он приказал вымыть этого человека в теплой ванне и, когда трое стражников купали алеута, генерал читал ему лекцию по гигиене и в заключение велел следить, чтобы Яшка каждую субботу брал ванну, а по утрам мыл лицо и руки. Эта была тяжкая обида, которую неспособен перенести ни один уважающий себя погонщик собак! Если бы Пискунов лучше знал Камчатку, он никогда бы, даже для спасения своих детей, не решился на такой поступок. Дело в том, что закутанные в меха бродячие инородцы далекого севера представляют по своему характеру помесь оленя, белого медведя, лисицы и зайца. Смотря по обстоятельствам, преобладает любое из этих животных, и смена их совершается иногда с такой быстротой, что ошеломляет европейца, не успевшего уловить, в какой момент произошло превращение безобидного трусливого животного в хищника с острыми когтями.

Алеут надел на свое вымытое, навеки опозоренное в ванне тело меховой магазин, нахлобучил шапку до подбородка и ушел, поклявшись отомстить обидчику.

И день мести настал!

Накануне выступления экспедиции генерал пожелал поучиться езде на собаках. Был прекрасный наст, снег лежал, как сукно на бильярдном столе. Таинственная синяя пустыня манила в свою глубину, так что кружилась голова и являлось такое чувство, какое бывает, когда смотришь вниз с высокой колокольни, удерживаясь за расшатанную

решетку. Легкую нарту покрыли ковром, запрягли в нее лучшую потяжку собак с передовым белоногим Алеком, славившимся своей резвостью и силой по всему краю, до берегов Ледовитого океана. Правил, конечно, Яшка, в совершенстве изучивший все тонкости трудного искусства погонщика. Пискунов закутался в шубу, лег так, что его шапка упиралась в спину алеута, и нарта исчезла в снежной пустыне, как ласточка в сумерки!

Ездил ли кто-нибудь из вас на собаках? Нет? Ну, так я должен сказать, что вы не знаете одного из самых приятных удовольствий, доступных человеку в этом мире. Картины райского блаженства описаны жителями жарких и умеренных стран, и по всей справедливости их следовало бы дополнить ездой на собаках. При хорошем снеге и дружной сильной упряжке, вы не чувствуете толчков и тряски, точно скользите над землей, как черное видение, уносящееся над замерзшими равнинами. От быстрой езды путник слегка пьянеет, снег и безмолвие погружают его в дремоту, в которой чудесным образом смешивается реальная жизнь с сновидениями. Тут есть особенный вкус, который знаком только тому, кто тысячи верст, дни и ночи, летел в нарте, уносясь в таинственные страны, где нет ни газет, ни полиции, ни судей, ни благотворительных учреждений, ни чиновников, ни тюрем, ни судебных приставов, ни законов...

— Что же все-таки случилось с этим Пискуновым?

— Сейчас! Он, как, вероятно и вы, не слышал, что упряжные собаки дики, как волки. Они знают своего хозяина и погонщика, а для чужих так же опасны, как волкодавы и овчарки, стерегущие стада в южных степях, или даже еще опаснее, потому что живут впроголодь. На остановках погонщик держит упряжку, пока путник не уйдет в безопасное место. Предоставленные самим себе, собаки заворачивают широкой дугой к путешественнику, набрасываются на него и могут растерзать, прежде чем он сосчитает до десяти. Единственное спасение в санях, так как собаки чувствуют необъяснимое уважение к человеку, находящемуся в нарте, и будут его тащить по снежной равнине, пока хватит

силы в их железных мускулах, не знающих усталости. Верстах в десяти от города Яшка остановил свору. Генерал вышел, чтобы поразмяться. Тонконогие псы, точно по команде, закружились на одном месте и молча, оскалив зубы, ринулись к тому месту, где стоял несчастный Пискунов.

— Скорее ложись в нарту! — закричал алеут. — Они съедят тебя вместе с шубой и мундиром. — Путник бросился в нарту, упряжка выровнялась, широкогрудый Алек занял свое место впереди с той важностью, какая свойственна всем лидерам.

— Слушай, начальник! — сказал погонщик, — ты меня вымыл и приказал мыть каждую субботу! Такой обиды не может вынести ни один человек на свете. Я жил сорок лет и ни разу не мылся. Теперь я потерял восемь фунтов веса и буду терять еще по несколько фунтов каждую неделю, пока не исхудаю, как мыло, брошенное в горячую воду. За это я оставлю тебя одного с собаками. Они увезут начальника далеко, к замерзшему морю, потому что передовая собака, Алек, родилась и выросла на краю земли, или даже еще дальше, куда едут по льду одну неделю, другую неделю и третью неделю.

Понятно, что Пискунову все это очень не понравилось, но что, скажите на милость, мог сделать канцелярский человек, закутанный в трехпудовую шубу, лежавший на дне нарты, в пяти шагах от стаи диких хищников, лишенных малейшего проблеска сознания о той разнице, какая была между генералом и первым попавшимся камчадалом? Алеут засвистал, отошел в сторону, и собаки ринулись в мерзлую пустыню с быстротой курьерского поезда, таща сани, в которых стонал и кричал несчастный исследователь Камчатки.

Тогда я еще ничего не знал об этой истории, которую впоследствии на глухих удаленных становищах рассказывал Яшка, и спокойно сидел у дверей своей юрты, поджидая охотников с мехами.

Предо мной до самого горизонта расстилалась такая местность, о которой я лучше всего вам дам понятие, если скажу, что она представляла ледяной каток, запорошенный снегом и слегка наклоненный к северу. На двадцать верст

кругом не могло бы укрыться от глаз ни одно живое существо. Поэтому я увидел нарту в тот момент, когда она появилась на окраине земли. Черное пятно несло с такой быстротой, словно его подгоняла буря. Скоро можно было рассмотреть собак. Я узнал Алека и от удивления разинул рот, когда увидел, что сани мчатся без погонщика.

Какой-то человек в тяжелой шубе барахтался в нарте, что-то кричал, но слов я не мог разобрать. В ста саженях от моей юрты путник выбросился из саней и, путаясь в шубе, побежал в мою сторону, но собаки живо повернули обратно и я застыл от ужаса, ожидая, что на моих глазах они его разорвут, как соломенное чучело. Но, должно быть, наученный опытом, человек в шубе одним махом перескочил обратно в низкие сани, линия собак мигом вытянулась, бросилась сломя голову вперед, и путник исчез из моих глаз скорее, чем исчезает в лузе бильярдный шар, вбитый сильным игроком.

Вечером приезжал камчадал Ой-Кан и сказал, что видел нарту в двадцати верстах к северу. На другой день ее видели мчащеюся к Ледовитому океану за сотню верст от моего становища, еще через день она достигла предела обитаемой полосы и навсегда исчезла в безграничных ледяных пустынях, уходящих к океану. Тут оканчивались всякие следы Пискунова.

Ни один человек не знает, куда он направился. Могу только сказать, что если он и погиб, то недаром, так как хорошо изучил вкус страны.

— Странная история! — сказал молодой человек.

— Не более странная, чем те, которые постоянно совершаются в больших городах и не обращают на себя внимания, потому что все к ним привыкли. Когда я первый раз попробовал тюленьего жира, он мне показался тоже странным, а потом привык и пью его в любом количестве.

II

Мы долго сидели молча, думая о том, какая судьба постигла несчастного. Пискунова, но эта была неразрешимая задача. Неожиданно вмешался новый собеседник.

— Я не думаю, что бы все происходило именно так, как рассказывал Крымзов, но около, кругом версты на три, на один перегон на почтовых так было, так могло быть!

Я посмотрел на говорившего. Он сидел в углу между ящиками с яблоками, консервами и трупами китайцев, которые везла на родные кладбища какая-то древняя мумия, запеленатая в белые и синие одежды, неподвижно день и ночь лежавшая около машинного отделения.

Пассажир, поддерживавший таким странным замечанием рассказ Крымзова, был одет в широкополую соломенную шляпу из кокосового волоса, какие носят китайцы; на шее у него под небритым синим подбородком был повязан грязный красный платок; на правой руке сверкало кольцо с великолепным брильянтом. Пуговицы на пиджаке были оборваны, жилет хранил следы многих кушаний и был украшен золотой массивной цепью. Дорогой хронометр лежал в дырявом кармане и выловить его оттуда, по-видимому, было очень трудно. В эту минуту наш спутник занимался именно таким сложным делом.

Он достал перочинный нож, вытащил два крупных золотых самородка, которые молча передал компании, сидевшей за столом; потом появилась колода карт, измятое письмо и наконец, придерживая одной рукой жилет сзади, а другой делая такие движения, как будто вытаскивал крепко вбитый гвоздь, он достал свои дорогие часы и увидел, что они стоят.

— Жаль! — сказал он, — лучший инструмент во всем Владивостоке. Я купил их в Фриско (Сан-Франциско) и заплатил за них четыреста рублей. В неделю поправка не более одной пятой секунды!

Он передал нам для рассмотрения часы, наклоняясь над столом, чтобы мы могли увидеть марку мастера.

— Теперь часа четыре, — продолжал он, — потому что в четыре часа в этих местах тень от Хин-Гана доходит как раз до середины реки.

Мне показалось странным, что обладатель такого великолепного хронометра должен определять время по тени от горных хребтов. Когда я ему это сказал, он ответил:

— Что поделаешь? они требуют слишком нежного обращения! Вы смотрите на брильянт? настоящий! — Он вытянул руку и за моей спиной вырезал на стекле большую букву М. — С того времени, как я попал на Миллионный ключ и в один месяц намыл столько золота, сколько другие не намывают в десять лет, у меня все настоящее. — Он опустил руку в карман пиджака, достал пригоршню кедровых орехов, серебряную мелочь и какой-то орден.

— Это дорогая штука! — сказал странный пассажир, указывая на орден. — За нее я на свой счет выкопал мамонта, разобрал его и в тридцати ящиках две недели вез по тайге. Теперь ставлю памятник одному завоевателю. Он немного тухлый, но кожа и шерсть как и у живого. Бронза, камень тоже чего-нибудь стоят! Художнику платить надо. Вы подумайте только, три тысячи лет лежал в мерзлой земле!

— Подождите, Талалаев, — сказал Крымзов. — Если вы будете говорить таким образом, мы вас никогда не поймем. К нему выяснительный словарь нужен, — добавил штабс-капитан, обращаясь к нам. — Делец, золотая голова! всю Америку изъездил, а просидел в тайге десять лет и говорить разучился. Вот, если бы вы с ним дела вели, так узнали, какая у него логика, а если рассказывать станет, так в глазах рябит!

— Отвык! — сказал Талалаев. — Знаете, — тайга, китайцы, дождь шумит. Она говорит: тебя дети не узнают. Плюнул! Китайцы разбили ему голову, а я стою и молчу, потому что никто ничего не понимает. Никакое красноречие не поможет! Адвокат взял с них триста рублей, а они хотели его утопить... Лес горит на сорок верст. Медведи плакали, а некоторые от испуга с ума сошли...

— Так нельзя! — горестно воскликнул молодой человек. — Мы опять ничего не понимаем.

— И обиднее всего, что он знает край, как никто. Когда разойдется, хорошо говорит! Прекрасно говорит! с воодушевлением, но его надо придерживать. Вы рассказывайте, — обратился Крымзов к Талалаеву, — а я возьму вожжи и буду править. Так мы и доедем куда-нибудь.

— Хорошо, — согласился Талалаев. — В тайге тихо; все свои мысли, и все разом проходят и уходят... В один миг столько передумаешь, что словами неделю надо рассказывать. Пока он летел с обрыва, я разом все понял. Обрезал веревку, на которой висел китаец...

— Стоп! — сказал капитан, — назад!

— Я хочу сказать, что долго молчал, поневоле молчал! С китайцами и корейцами знаками объяснялся. Если распилить тайгу на дрова, собрать щепки и опилки, много времени уйдет.

— Опять не туда! — сказал капитан.

— Теперь туда, — возразил Талалаев. — Есть большие мысли, как тайга. Слова как щепки! Рубишь, рубишь! кажется, гора, а еще и леса не тронул. Вы только следите, чтобы я верстовых столбов держался, а где я начну и где кончу — не ваше дело!

Рассказ Талалаева походил на блуждание среди бездорожной тайги. Местами он был красив, как затерянные лесные поляны, но чаще представлял какой-то бурелом, в котором безнадежно путались и рассказчик и слушатели. Я передаю его с значительными сокращениями и, так сказать, с выпрямлением пути.

— Когда мы пришли в лес на реке Урюме, где теперь строится Амурская железная дорога, там плотной стеной стояли крепконогие сосны и пихты. Солнце никогда не заглядывало в спокойную черную воду, и в глубине тайги было так тихо, что от этой тишины в ушах звенело. От скуки я перевернул все вверх дном, ходил по коридорам, а за мной носили вино и закуску. Когда пили шампанское, то свистели на всю реку. Помощник капитана переделал пароходную сирену так, что она всю глотку ревела какую-то каторжную песню. Но так и не доехали, — лопнул причал и пароход нанесло на мель.

— Назад! — сказал Крымзов. — Вы о чем рассказываете?

— Я хочу сказать, что в лесу было так же скучно, как на пароходе на Лене, где я был единственным пассажиром и ехали три недели.

— Удивительно просто! ну, дальше, да только не сбивайтесь, а то вы никогда не кончите.

— В тайге, о которой я рассказываю, рядом были Бог и дьявол, но чаще казалось, что все эти узорчатые своды на железных колоннах, бездонные трясины, землю, скованную морозом на глубине трех аршин, создал один дьявол, и что он где-то ходит по зеленым и красным моховым коврам, но бурой хвое и смотрит на свою работу. Я сидел в третьем ряду, певец был прекрасный, но Демон — Демон никуда не годился. Он был слишком слащав. Немецкий черт, Мефистофель, пахнет книгой. За ужином Антонов говорил, что Мефистофель родился и вырос в книжном шкафу, как бумажный скорпион!

— Невозможно! — воскликнул молодой чиновник.

— Невозможно, — вторил я.

— Тут пересадка! — сказал Крымзов. — Талалаев, о чем вы рассказываете? поверните назад.

— О, Господи! Вы понемногу привыкайте, а то я никогда не кончу. Я хотел сказать, что мне в театре не понравился Демон, влюбленный в Тамару, а Мефистофель родился в чернильнице. Сибирский черт натурален, мрачен и тяжел, беспощаден; умен дико и глуп дико и все в нем дико. Я часто думал об этом там, в тайге. Вся мебель стала на него похожа, диваны, комоды, кресла в два обхвата, зеркало и то расплылось, и в нем все лица выходили, как у хозяина.

— Стоп! — перебил Крымзов.

— Э... не перебивайте так часто. Я вспомнил, что у меня был приятель-золотопромышленник, грузный, сырой, точно его мальчишки из глины вылепили. Заболел, много лет просидел дома, и вся обстановка стала на него похожа: куда не посмотришь — Иван Семеныч! На полу, на стенах, в гостиной, в кладовых — везде Иван Семеныч! Так и в тайге, в каждом углу таежный черт и никуда от него не уйдешь!

Везде его усмешка и в ней злоба, ненависть, тоска! Яд, собранный как мед по капле, и напились его горы.

— Разговорился, — тихо и с облегчением сказал капитан. — Теперь пойдет...

— Не перебивайте! Я должен двигаться или совсем стану. И вот в этот дикий нетронутый лес влезли переселенцы, человек двести или триста. Явились они с голыми руками; на семью один иззубренный топор, да и тот без топорща. Лохмотья, битая посуда, мусор! Какая-то оголтелая полупьяная ночлежка, впущенная в тайгу. Смотреть жалко. Вкатится такая волна, разобьется под пятисаженными лиственницами и кедрами, рассыплется на глухих полянах и пропадет, точно ее и не было. Ни в одном море не похоронено столько жизней, как в сибирских лесах! Но с переселенцами, о которых я говорю, вышло совсем плохо.

Начали они рубить деревья, потому что там, если не срубить сосны или кедра, так и сесть негде. Тюкают топорами около корней, целый день рубят и только немного поцарапают дерево. — Стоит оно, как обомшелая скала, много сотен лет борется за каждую пядь земли, за каждый луч; борется с бурями, морозами, пожарами, вырастило в себе за тысячу лет сатанинскую гордость и жестокость.

С утра слышу, стучат топоры, летят мелкие щепки, а наверху ветки колышутся от ветра, как зеленый пруд, и люди оттуда кажутся не больше муравьев.

Переселенцы очень скоро увидели, чего в этой борьбе победа останется за лесом, и все вместе навалились на одну лиственницу. Рубили они ее неделю и наконец добрались до сердцевины, но дерево наверху ветвями держалось за своих соседей, висело на воздухе и не хотело падать! Люди дошли до отчаяния. Бабы ревели, мужики с утра до вечера пьянствовали и то и дело ездили в Сретенск за водкой. Пьяные песни, ругань, жалобы, стоны, треск подрубленного дерева, — все это гнало меня из тайги. Как-то ночью поднялась буря, подрубленная лиственница обрушилась, ломая и коверкая деревья и кустарники, и придавила трех человек.

Двое умерли, а третий с переломанной ногой лежал в шалаше и с утра до вечера ругал лес, чиновников, которые загнали его в тайгу, самого себя и все на свете.

Люди спали на мокрой земле, оступели от нужды, голода и водки. Среди них начался тиф и еще какая-то болезнь, от которой все тело сводили судороги. Одна за другой вырастали могилы.

Вот тут-то и явился этот проклятый Лин-Чанг! — Он таскал по глухим становищам спирт, рисовую водку и опиум. Сам Лин-Чанг был пропитан своим товаром, как губка. Он пил вино, тянул ханшин, курил опиум и был похож на труп, который видит чудесные видения и хочет всех людей довести до того состояния, в котором находился сам!

Я видел много пьяниц. — Когда открыли знаменитую золотую россыпь Миллионный ключ, то бутылка водки стоила там восемьдесят рублей, но так как денег ни у кого не было и платили золотым песком, то выходило еще дороже. И я знал одного человека, который в течение месяца выпил водки на четырнадцать тысяч рублей. Но все это было не то! Лин-Чанг давно забыл, что такое трезвые часы, и, что самое скверное, был апостолом пьянства! Настоящим пророком тех людей, которые в опиуме, спирте и других ядах ищут того, что не дает им жизнь.

Нет, Крымзов, не останавливайте меня! теперь я уже не собьюсь, — попал на рельсы и буду катиться до конца, или по крайней мере до того места, где запутаюсь и потеряю охоту рассказывать дальше.

Он, т. е. Лин-Чанг, приходя на глухие прииски, останавливал все работы и люди окружали его, как медовый сот. Я думаю, если черт может вселяться в человека, то в этом грязном, высохшем китайце их сидела дюжина! Среди переселенцев он сначала не имел успеха, потому что эти люди и без него были хорошо отравлены и спиртом и водкой, но Лин-Чанг отлично знал свое дело! Он предложил им ханшин, рассказав о необыкновенно выгодных свойствах этого зелья. Человек, сегодня напившийся ханшина, завтра может быть пьян весь день, если натошак выпьет

кружку холодной воды. — Он может быть пьян и после-завтра при ничтожной новой порции рисовой водки.

Лин-Чанг, как истинный проповедник, говорил с большим жаром и с такой силой убеждения, что я сам боялся его слушать: после его проповеди жизнь без вина и опиума казалась слишком пресной.

Они все, мужчины и женщины, начали пить ханшин, который вдвое ядовитее водки. Несколько человек из любопытства попробовали опиум. — Лес превратился в сумасшедший дом. Не обращая внимания на больных, число которых все росло, пьяницы орали во все горло, гонялись за видениями, убегали от воображаемых змей и крылатых чудовищ, которые им чудились на деревьях и в траве, дрались друг с другом и спали там, где валило их снотворное действие западных и восточных напитков. Я сделал петлю и, с целью попугать его, накинул веревку ему на шею, но он был тогда так пьян, что не мог стоять, и удерживался за дерево!..

— Вы кого хотели повесить?

— Ну, конечно, Лин-Чанга! Я желал освободить тайгу от заразы, т. е. я не хотел его вешать совсем, но очень обрадовался, когда он сам повесился! Я не знаю, как это случилось, да и не было времени узнавать, так в ту ночь загорелся лес. Тайга прекрасно защищена от огня, но если пламя победило, пожар движется как буря! Отравленные пьяные люди метались на поляне, с одной стороны которой взвивались огненные вихри, и, не подозревая о размерах опасности, кропили деревья святой водой и расставляли иконы.

При помощи рабочих я погнал их всех через реку. Непоскогда было собирать разбросанных вещей, и люди бежали, унося только то, что случайно попало под руку.

С правого берега реки мы видели, как зарделся лес, окутался тучами дыма, засыпал огненными искрами черное небо и исчез в огненном море. Посредине реки был песчаный остров, освещенный, как окно магазина на городской улице. На этот остров бежали медведи, лоси, волки и лисы. Птицы с опаленными крыльями носились над огненной рекой и тонули в пламени, которое тянуло их, как яр-

кий свет притягивает мотыльков. Искры и горящие головни полетели через реку, которая, как зеркало, лежала между нами и горящим лесом. Испуганные звери долго метались по острову, потом все разом бросились в воду и поплыли в нашу сторону. Впереди, в розовой пене, плыл большой старый волк, за ним два лося с ветвистыми рогами и пять или шесть медведей.

Прежде чем звери успели выбраться на землю, рядом с нами загорелась сосна. Сначала огонь тух и вспыхивал, точно по дереву перепархивали огненные птицы. Загорелись кустарники на берегу, и вдруг высоко взвилось в клубах дыма лохматое пламя. Люди и звери обезумели от страха, — они выли, ревели, плакали, ползая по траве, пока на них не посыпался огненный дождь. Тогда они, как ослепленные, бросились вглубь тайги, но пламя опередило их и в той стороне, куда бежали люди и звери, я видел далеко от берега вершину горящей лиственницы.

Вместе с переселенцами, медведями, волками и лосями исчезли и мои рабочие, русские и китайцы. Спасение от огня было только в реке. Я по шею вошел в воду и, как во сне, видел бешеную пляску пламени вдоль берегов и вокруг себя на зеркальной поверхности реки. Когда становилось слишком жарко, я опускал голову в теплую воду и оставался в таком положении, пока хватало воздуха.

К утру пожар ушел далеко от реки; солнечный свет погасил последние искры и осветил черную гарь, ряды наклоненных, скрещенных и поваленных деревьев, на которых кое-где сохранились опаленные ветки. Все сорта дыма, — белого, синего, коричневого, желтого, то легкого, как утренний туман, то тяжелого, как нефть, ползали над мертвой землею, над болотами, лениво стекали к реке или уплывали к закопченному небу!

Я вышел из воды, нашел бутылку с ханшином и выпил его до дна.

Водка показалась мне совершенно безвкусной, и когда я обернулся, чтобы выбросить бутылку в реку, то увидел на другой стороне, так ясно, как вижу, вас, подлого Лин-Чанга. Он шел вдоль берега, как ходил всегда, — согнувшись, с

жестянкой за плечами и кружкой в руках! Я швырнул в его мерзкую голову бутылку, но она, не долетев, упала посередине реки.

Лин-Чанг засмеялся и, как ни в чем не бывало, продолжал спокойно идти дальше, пока не потонул в полосе желтого дыма.

Не понимаю, как он мог ходить! Нельзя брать веревку с узлами, особенно для мертвецки пьяного, и потом два вершка от земли — слишком маленькое расстояние...

— Опять неясно! — начал было Крымзов, но остановился и торопливо добавил: — Впрочем, иногда ясность только портит дело.

— Ну, а что же было с переселенцами? — спросил кто-то.

— С переселенцами? кто их знает! В реке одна волна, за ней другая, третья!.. Все видят, как они идут и уходят, а куда исчезают, никто не знает.

— Немые волны! — сказал Крымзов.

— Немые волны, — повторил Талалаев и начал доставать свой хронометр.

III

После ужина мы сидели в общей каюте, слушали, как дождь барабанит по палубе, и от нечего делать в сотый раз рассматривали истрепанный альбом с фотографиями, снятыми младшим помощником капитана на всех пароходных стоянках от Сретенска до Николаевска. Фотографии, надо оказать правду, были плохие, очень плохие! но все же я не одобряю поведение тех пассажиров, которые, не щадя самолюбия юного помощника, писали на оборотной стороне карточек свои пояснения, вроде следующих:

«Исправляю ошибку составителя альбома, — тут сняты не береговые скалы, а мой знакомый почтмейстер Лопушин с женой и детьми».

«Не береговые скалы, а охота на тигров».

«Внутренние органы пьяницы».

«Обвал в горах».

«Непостижимая игра природы».

Некоторым извинением для пассажиров может служить та отчаянная скука, которая овладевала нами со второго дня путешествия на грязном, тесном пароходе, переполненном китайцами и рабочими. Я с первого взгляда увидел на этой загадочной фотографии кошку с котятками и, удивляясь, что до меня никто ее там не находил, взял перо и прибавил свое объяснение к десятку других.

Итак, мы сидели за длинным столом, покрытым изрезанной клеенкой, рассматривали альбом и обменивались короткими замечаниями о скверной паровой кухне, пока общее внимание не было привлечено изображением двух странных существ, плававших в сером тумане, который всегда окутывал снимки, сделанные помощником капитана.

— Что это такое? как вы думаете? — спросил Крымзов, указывая на фотографии на огромные руки, колени, похожие на бревна, туловища в мехах и маленькие головы, запрятанные в туманной мгле.

— По моему, фотограф неудачно поместил свой аппарат.

— Да, но все-таки здесь можно отлично рассмотреть кое-какие подробности, — впалые щеки, трусливое и вместе хитрое выражение лица; во всей фигуре что-то унылое и расслабленное, как у издыхающего животного. Не знаете, так я вам скажу!

Крымзов минуту помолчал, чтобы сильнее возбудить наше любопытство.

— Эта фотография снята с последнего человека! Понимаете ли — последний человек! Я-то хорошо знаю в них толк! В Сибири живут или недавно жили вымирающие племена, — Омоки, Аррины, Катты, Ассаны. Каждый из этих народцев состоит из нескольких семей или даже из одной семьи, странствующих в невылазных дебрях и хранящих последние остатки культуры, созданной много веков тому назад. Они пришли сюда с Востока, с Юга, говорят на различных языках, молятся разным богам, но потому что

они последние остатки могущественных когда-то народов, у всех у них есть общие черты. Я это отлично знаю, так как еще недавно чуть было не нажил целого богатства на одном из этих бродяг, который представлял последний лист на дереве с подсохшими корнями.

Я ничего не могу вам рассказать о первом человеке, о первых ростках отдельной расы их или народа, — я их не видел и обманывать никого не стану. Но последний человек — другое дело! Они все похожи друг на друга, как столетние старики. Когда придет время и на земле останется последний француз, немец или русский, у них будет такое же тело, как у этой сибирской древности, оказавшейся перед фотографическим аппаратом помощника капитана. Все кончают одинаково, и в конце концов цивилизация каждого народа, все его пророки, ученые, изобретатели, преступники, вожди, поэты заканчиваются в теле какого-нибудь расслабленного идиота, таскающего с собой кучу мусора, интересного только для археолога, и как летучая мышь прячущегося от шума, движения и света.

— Это уже философия! — сказал № 13. — Расскажите нам лучше о последнем человеке! Где вы его видели?

— Хорошо! Будьте любезны, закройте двери на палубу, — оттуда летят брызги дождя. Благодарю вас.

Дело происходило летом 1911 года. Я жил в то время во Владивостоке, в гостинице на берегу залива. Занятий у меня не было, да я их не искал, так как придерживаюсь того правила, что человек, имеющий столько денег, чтобы прожить месяц-другой, должен совершенно спокойно наслаждаться жизнью, если только он не прирожденное выючное животное.

Каждый день после обеда я сидел часа два на берегу залива, следя за уплывающими туманами, пароходами и рыбачьими лодками, направлявшимися в Нагасаки, Шанхай и на север, к Берингову проливу. Дни чеканились из полновесного золота, и когда тонули в море, то по воде долго еще разливались красные и желтые отсветы.

На берегу, рядом с которым бегут друг за другом высокие волны, размахивая косматыми гривами, как у библей-

ских коней, знакомство завязывается легко и быстро. Рядом со мной часто сидел господин с лицом ястреба и пышными усами, закрученными кверху. Несмотря на жару, мой сосед всегда был одет в черный сюртук и черную шляпу, и все движения его напоминали заводного воскового автомата, которого показывали на китайском базаре, в пяти минутах ходьбы от пристани. Он точно боялся разбиться, — с большой осторожностью садился на камень, смахнув с него предварительно пыль платком, осторожно вытягивал длинные ноги, заботливо сторонился от суеты на пристани. Несколько дней мы с ним говорили только о погоде, китайцах и пароходах.

При всякой решительной попытке с моей стороны вывести разговор на более глубокую воду, автомат захлопывал свои крышки, поднимался и уходил. Наконец, он прирек к моему обществу и стал откровеннее.

Надо еще принять во внимание, что я обладаю редкой способностью привлекать симпатии всех людей, с которыми сталкивает меня судьба!

Итак, он разговорился, и тогда слова потекли из него, как вода из полной бочки, у которой вынули кран.

Специальностью моего случайного знакомого, — его звали Фридрих Карлович Миллер, — была антропология и этнография. По поручению берлинской академии, он странствовал по всему свету, собирая черепа, кости, посуду битую и целую, в особенности битую, шляпы, обувь и вообще всякую дрянь, какая попадалась ему на глаза, потому что наука его была столь обширна, что любая мусорная куча от Австралии до крайнего Севера могла дать для нее материал. В Сибирь доктор Миллер приехал с поручением весьма высокой научной важности. — Он должен был достать череп, а по возможности, и целый скелет одного из представителей исчезающего или уже исчезнувшего племени Арринов.

Надо вам сказать, милостивые государи, что наука придает необыкновенную ценность последним людям любого цвета и сложения, где бы они ни жили. Наши черепа и скелеты ничего не стоят, — самое большее, годятся для изуче-

ния анатомии. Но если бы я был последним Аррином, Омоком, Каттом или Тасманийцем, за мной охотились бы, как за чернобурой лисицей, и ни одна академия не задумалась бы заплатить за любую принадлежность моего платья больше золота, чем она весит. На международном аукционе, если бы такой был устроен, какой-нибудь грязный бродяга, шляющийся по лесам и растерявший во мраке времен всех своих родственников, мог бы выручить за свой жалкий багаж, состоящий из костей, ремней и черепков, неизмеримо больше, чем можно получить за целый магазин, набитый лучшей мебелью, коврами, хрусталем и бронзой.

Теперь вы понимаете, что за таким сокровищем, как последний человек любого народа, выгодно охотиться, не щадя никаких трудов и издержек. Я еще не упоминаю о славе, газетной шумихе, лекциях, докладах в ученых обществах и о всем прочем, что косвенно даст вам грязный фитиль, пропитанный жиром, редкий обломок древности, и его жалкая утварь, в которой заржавленная жестянка или сломанный нож представляют для их обладателя величайшую драгоценность из всех существовавших когда-либо на земле.

Миллеру был нужен такой зверь. Но где его достать? После долгих колебаний он открыл мне цель своих путешествий и просил помочь ему в поисках последнего человека.

За несколько месяцев до нашей встречи, я искал золото на одном из безымянных левых притоков реки Зеи, и в тайге встретил семью бродячих инородцев, состоящую из четырех или пяти человек. Эти люди казались дикарями даже в сравнении с гиляками или камчадалами. Одетые в потертые, облезлые меха, голодные и жадные, они напоминали одичавших кошек, заблудившихся в глубине леса. Люди эти называли себя Каттами, что на их языке значило «Владыки мира». Тогда я не обратил на них особенного внимания, и если еще помнил об этой встрече, то потому только, что «Владыки мира» с необыкновенной жадностью набрасывались на всякую пищу, какая бы она ни была. Для них годилось все; сырое мясо, рыба, соль, вакса, смазочное масло, свечи! Они съели фунт порошка для истребления

насекомых и выпили все лекарства из нашей аптеки. Накормить их досыта было невозможно! По крайней мере, когда в один воскресный день мой товарищ вздумал пожертвовать частью наших запасов, чтобы посмотреть, сколько питательного вещества войдет в одного Катта, то этот интересный опыт не мог быть доведен до конца.

Катт, худой как карандаш, уселся на корточках под кедром и, блаженно вздыхая от счастья, съел мешок сухарей, банку варенья, полбочонка сельдей и пять фунтов сахарного песка. Это было все, что мы могли ему предложить, но, когда исчезла последняя горсть сахара, мой товарищ впал в ярость. — Он отдал «Владыке мира» бутылку прованского масла, банку с французской горчицей и мой резиновый плащ. Но тут уж я вмешался в дело и прекратил пиршество.

Можете мне не верить, но дикарь говорил, что он голоден, потому что не привык к «легкой пище» и желал бы съесть еще что-нибудь «тяжелое»!

Узнав, что люди, о которых я сейчас рассказывал, называли себя Каттами, Миллер пришел в восторг. Он даже не пытался скрыть от меня своей радости, как сделал бы на его месте всякий другой человек с хорошими коммерческими способностями, и признался, что каждый Катт стоит в настоящее время на международном археологическом рынке трех Арринов, шести Оммоков и восьми Тасманийцев.

Племя это с середины прошлого столетия считали совершенно вымершим, но, так как ученые подозревали, что Катты были родственны ассирийцам и явились в Сибирь из, страны соседней с Месопотамией, то даже я понял, какое огромное значение для науки имели последние отпрыски народа, заблудившегося в северных лесах и ушедшего в землю, как исчезает река в песках пустыни.

Миллер хотел, чтобы мы немедленно отправились в ту местность, где обитало это живое археологическое сокровище, но я желал предварительно охранить свои интересы и поставил ученому немцу некоторые условия.

— Милейший господин Миллер, — сказал я ему, — договоримся до конца и заключим письменное соглашение. Я и вы образуем компанию для разработки открытых мною последних остатков племени Каттов. Вы получите славу, — мне достанутся деньги. Оценим добросовестно каждого Катта, установим его рыночную стоимость. Уплатите мне рублями, франками или марками, как вам угодно, и получите их в вашу полную собственность!

Немец заявил, что с меня будет довольно высокой чести участвовать в научных изысканиях такой необыкновенной важности, и что он со своей стороны может предложить мне только оплату путевых расходов.

Я поблагодарил и отказался, предупредив Миллера, что он сам или все археологи вместе только напрасно потеряли бы время на поиски вымирающего племени. — Оно поместилось так хорошо, что только слепой случай мог навести на его следы. Тогда Миллер пошел на уступки и предложил мне самому определить цену Катта. Но в этом-то и заключалась главная трудность!

Я в своей жизни покупал и продавал много различных вещей, но как определить настоящую цену последнего человека? Я боялся продешевить и всеми способами старался выпытать у Миллера справочную цену на такого рода товары. Но ученый, когда дело дошло до денег, насторожился и упорно отказывался от всяких разговоров о стоимости древнего человека. Наконец я остановился на следующем, по-моему, совершенно справедливом способе расценки.

Дело шло о продаже древности, имеющей по самому скромному подсчету три тысячи лет. Каждый наличный Катт являлся продуктом тридцативековой культуры, и стоил он по крайней мере столько, во что обошлось бы его содержание в течение всего этого времени. Считая самое меньшее по двести рублей в год, выходила очень почтенная сумма в шестьсот тысяч рублей за каждого! Если принять во внимание обжорство Каттов, то надо признать цифру эту очень умеренной, но, к моему удивлению, Миллер наотрез отказался вести переговоры, основанные на такого рода расчетах.

Он сказал только, что последние люди никогда еще не продавались по таким высоким ценам, и что с моей стороны было бы благоразумнее получить несколько сот рублей за черепа, костяные ножи, посуду и прочий хлам, чем ничего не получить!

Но я отлично видел, что хитрый немец желает чужими руками загребать жар и набить себе карман за счет таких сибирских простаков, каким был я и эти древние чучела, не подозревавшие о колоссальной стоимости своей жалкой утвари.

Катты принадлежали нам, русским, и я не мог за дешевую цену допустить расхищение национального богатства, да еще быть пособником немецкого пройдохи! Пусть заплатит! хорошо заплатит! тогда другое дело. Но кто же согласится ограбить родную землю за путевые издержки?

Когда Миллер еще раз заговорил о больших расходах на путешествие в Сибирь; жаловался на бедность и скупость ученых учреждений; насчитывал в рублях и копейках, в марках и пфеннигах предстоящие расходы, цену провизии, лодки, упаковочных материалов, у меня явилась новая мысль.

— Хорошо! — сказал я. — Пусть будет по-вашему, — вы оплатите путевые расходы и дело с концом!

— Не знаю, как благодарить вас. Наука нуждается в бескорыстных работниках и ваш труд, ваше великодушное содействие...

— Подождите! Вы или ваша академия оплатите путешествие, это решено! но только не наше с вами, а всех этих Каттов, целого народа, каким он был две тысячи лет тому назад, когда двигался из Месопотамии на далекий север. Скажем для ровного счета, что их было тогда сто тысяч душ, включая сюда и грудных младенцев. Это немного, но я вам сделаю еще одну уступку. — Расстояние от Евфрата до Амура мы определим по прямой линии, как летает птица, хотя, конечно, первобытные люди должны были колесить, блуждать взад и вперед, потому что сами не знали, куда идут. В этом пункте вы меня не собьете, господин Миллер, со всей вашей ученостью! — Древние народы никогда не знали, куда они идут, когда и куда придут. Путе-

водителей тогда еще не было. Думаю, что мое предложение покажется вам вполне справедливым. — Если вы хотите получить последних людей у нас в России, — берите их! Берите, но по крайней мере заплатите за транспорт, возместите стоимость трудов и лишений, которые потрачены были первобытной ордой для того, чтобы достигнуть места, где их возьмет ваша академия.

— Вы с ума сошли! — сказал Миллер. — Не надо мне Каттов. Я отказываюсь от вашего предложения.

Скажите, что мне оставалось делать? Все козыри в этой игре были на руках у немца. Я начал опускать цену и наконец мы заключили вот это условие.

Крымзов достал из бокового кармана истрепанную четвертушку бумаги и прочитал:

«Мы, нижеподписавшиеся, доктор философии Иоганн Вильгельм Миллер с одной стороны и отставной штабс-капитан Сергей Крымзов, с другой, заключили настоящий договор в следующем:

1) Я, Крымзов, обязываюсь указать Миллеру местонахождение последних людей народа, именуемого Каттами или Коттами, в чем некоторые усматривают аналогию со словом «Готты» и на этом основании устанавливают родство или общность происхождения этих двух племен.

2) Крымзов обязан сопровождать Миллера до обиталища означенных последних людей; оставаться все время, сколько потребует Миллер, на месте исследования и помогать в собирании и упаковке научного материала.

3) И. В. Миллер принимает на себя все издержки по снаряжению экспедиции и, кроме сего, выдает Крымзову пять рублей в сутки. Все имущество последних людей должно быть оценено в Берлине и половина суммы, установленной этой справедливой оценкой, поступает в пользу штабс-капитана Крымзова.

Явлено у нотариуса 16 июля 1911 года».

Все! Через три дня после заключения этого условия мы выехали из Владивостока, а еще через неделю плыли в лодке по безымянному левому притоку Зеи, похожему на проселок, извивающийся между высокими стенами тайги.

На поляне, где жили Катты, все было по-прежнему. Над высокой травой толклись столбы мелкой мошкар; черные растрепанные шалаши, для постройки которых употребляли ветки, веревки и сети, стояли под деревьями, росшими здесь еще в то время, когда предки нынешних Каттов странствовали где-то в пустынях между Месопотамией и Сибирью. Не было только самих Каттов! Они ушли, исчезли, растворились в тайге, как кусок соли в бездонном озере.

Я уже начал думать, что даром пропали все наши труды и мы ничего не заработаем на этом деле, обещавшем сначала такие выгоды, с которыми могло идти в сравнение только открытие богатой золотой россыпи. Оставалось кое-какое имущество, но главную ценность, по словам Миллера, представляли скелеты или хотя бы череп последнего человека, и теперь исчезала всякая надежда добыть драгоценные кости.

Я готовил обед около костра, когда услышал радостное восклицание доктора.

— Вот он! Смотрите, Крымзов! Этого-то мы не упустим! — Вслед за этими словами Миллер исчез в кустах орешника и через минуту появился на поляне, толкая перед собою моего знакомого, обжору Ин-Рана.

Ин-Ран, — по-русски — Угасающее пламя, — не высказывал ни малейшего страха. Скривив свое маленькое желтое лицо в гримасу, которая должна была означать улыбку, он бегом направился через поляну ко мне и, протягивая руку сказал:

— Дай! я хочу есть. Теперь у Ин-Рана будет мясо, маленькая и большая рыба, горькая вода.

Он сел около костра и, раскачиваясь своим тощим телом, зашитом в вытертый мех, начал нараспев по-русски и на языке Каттов перечислять все то, что он хотел бы съесть.

— Теперь зверь у нас в руках! — сказал я Миллеру. — Если бы вы даже стали его гнать, он не уйдет, пока у нас останется хоть что-нибудь, что можно съесть или выпить!

Так оно и вышло! Обрадованные появлением Катта, мы не щадили провизии и последний человек утопал в бла-

женстве, сидя среди раскрытых ящиков с рисом, мукой, свечами и лимонами. Но проку от него было мало. Осматривая пустые шалаши, я не нашел там почти ничего, что можно было бы вывести на рынок и предложить археологам. Не было ни посуды, ни оружия, ни одежды. Наш дикарь обладал только тем, что носил с собой. Все имущество единственного наследника народа, происхождение которого терялось в глубине веков, состояло из сломанного ножа, обточенной кости, насаженной на палку, небольшой медной птицы, похожей на гуся, пустых жестянок и обрывков бумаги, которые он подобрал на месте нашей прежней стоянки.

Миллера такая ужасающая нищета, по-видимому, мало смущала.

— Продукты материальной культуры принадлежат по условию вам, — говорил ученый, — но для меня и для науки остается еще культура духовная. Я соберу здесь столько материалов, что мне их хватит на четыре тома. Пусть он привыкнет немного к нашему обществу и тогда вы увидите, какие сокровища таятся в его древней памяти!

Но я считал себя обокраденным самым бессовестным образом. Надо полагать, что племя «Владык мира», Каттов, Коттов или как они там себя называли, все сплошь состояло из отъявленных мотов, которые ничем не дорожили и спустили все до последней нитки, до последнего горшка, не пощадив даже своих богов и святых.

Оставался, правда, скелет и череп последнего Катта, но, так как этот товар находился: в живом человеке, то он не имел никакой цены. Не было ни малейшей надежды, что единственный потомок «Владык мира» отправится скоро по следам своих предков. Он заметно полнел, его грязные щеки лоснились от жира, глаза блестели и в них, вместо выражения голода и собачьей жадности, появилась мечтательность.

Признаться, я потихоньку подговаривал его к самоубийству, пользуясь теми часами, когда Миллер был занят хозяйственными хлопотами и своими бесконечными записками.

— Ты остался один на белом свете! — говорил я. — Все твои предки ушли в прекрасную страну, где много пищи. Там с утра до вечера они сидят вокруг бочек с жирной рыбой, патокой и салом, облизывают пальцы, погружая их в банки с вареньем и французской горчицей; пьют все, что только пожелают, и ждут тебя. Для полного блаженства им недостает только тебя!

Ин-Ран вздыхал от счастья, закрывал глаза, как жирный кот, которого щекочут за ушами, набивал рот рисом и просил:

— Говори! говори еще: я люблю слушать о своих предках.

— Там у тебя будет жена, такая... похожая на тебя! закутанная в блестящие меха и сытая, толстая, с волосами, намазанными рыбьим жиром.

Нет ничего легче, как отправиться в эту счастливую страну. Я дам тебе крепкую веревку и покажу, что надо сделать, чтобы твоя душа соединилась с душами предков.

— Мы пойдем вместе! — отвечал радостно Ин-Ран. — Сначала ты, потом я. Угасающее племя не хочет, чтобы ты остался здесь и жалел о той прекрасной стране, о которой так хорошо рассказываешь.

Что мне было с ним делать? Приходил Миллер, веселый и довольный, видевший за этим тупым созданием необъятный исторический горизонт, шумные толпы народов, стекающих с гор в пустыни, подобно многоводным рекам, и постепенно теряющихся в дали веков. Для него этот грязный Ин-Ран был драгоценным ключом для входа в первобытный мир.

— Ну, что ты мне расскажешь, Угасающее пламя? — спрашивал Миллер, нежно смотря на лисью морду последнего человека. — Нет ли у тебя рассказов для друга?

— Есть! — отвечал Ин-Ран, вытирая жирный рот меховым рукавом. — Я уйду в далекую страну, куда переселились мои предки.

Миллер настораживался, как охотничья собака.

— Я слушаю, и если рассказ будет хорош, ты получишь фунт табака.

Замечу, что последний человек не курил, а жевал табак и это занятие доставляло ему величайшее наслаждение.

— Я с предками буду сидеть вокруг бочек с рыбой.

— С какой рыбой? — спрашивал Миллер и карандаш его впивался в бумагу.

— Не знаю! — Это глупое животное повторяло только то, что слышало от меня, и неспособно было даже придумать название рыбы.

— Но какая это рыба? соленая, сырая или вареная? — приставал Миллер.

— Всякая! большая и маленькая, жирная! потом я найду там жену.

— Постой! Слышите! — обращался доктор ко мне. — У них в загробном мире есть жены, которых ищут. Понимаете, *ищут*! Это важно, так как указывают на общность их верований с религией ассирийцев.

— Как же, Угасающее пламя, отправишься ты в эту прекрасную страну, населенную твоими предками?

— На веревке! вместе с своим другом.

— Изумительно! — восторгался Миллер. — Тут аналогия с нисхождением в тартар, спуск к вечному мраку. И заметьте, с другом, непременно с другом!

Я боялся, чтобы глупый Катт не сболтнул чего-нибудь о моем предложении отправиться в лучший мир, и всеми силами старался перевести разговор на другие предметы. Нарочно опрокидывал в огонь котел с рисовой похлебкой, устраивал маленькие пожары, ронял в реку чашки, которые мы потом вылавливали общими силами.

Иногда Миллер заставлял Ин-Рана петь. Раскачиваясь взад и вперед, живая древность без конца тянула одну и ту же ноту без слов: а... о... яяя... ооо... аа...

Больше он ничего не умел; но Миллер из всего ухитрялся извлечь пользу. Он научился обрабатывать древних людей, как на химическом заводе обрабатывают мусорные кучи, из которых добывают блестящие краски, духи, кислоты, удобрения, румяна, бумагу, масло, чернила и патоку.

Миллер уже исписал три толстых тетради и взялся за четвертую, когда я решил положить конец этому производ-

ству и получить кое-что в свою пользу.

Я сказал себе: мне нужны кости этого проклятого Ин-Рана, и я их достану. Достану без насилия и без нарушения христианских заповедей. Надо сделать так, чтобы он сам отправил себя вслед за своими единоплеменниками, и для этого оставалось только одно средство, — водка и спирт!

До этого дня мы с Миллером редко давали ему спиртные напитки, но теперь я решил давать их последнему отпрыску Каттов столько, сколько он сможет выпить.

Ин-Ран почувствовал себя на вершине блаженства, доступного человеку в этом мире. Он пил водку не так, как пьем все мы, с остановками и пьяными разговорами. Нет! Он поступал проще: вставлял горлышко бутылки в рот и тянул жидкость до последней капли, потом отбрасывал посуду и засыпал там, где сидел. Я был, конечно, осторожен, чтобы не убить его слишком быстро, и строго распределял дневные порции.

Миллер удивлялся, откуда дикарь достает водку, но я притворялся еще более удивленным беспробудным пьянством Угасающего Пламени, и намекнул немцу, что для нас обоих страсть Ин-Рана к спиртным напиткам может оказаться очень полезной. Теперь я думаю, что Миллер отлично знал, откуда дикарь доставал водку, и только делал вид, что ему ничего не известно. Доктор желал получить кости Ин-Рана, и в конце концов, странствующему археологу было решительно все равно, от какой болезни умрет последний Катт. Мы с утра до вечера сидели около палатки рядом с кустарником, в котором валялся мертвецки пьяный дикарь, и ждали. Но конец не приходил! Последний человек дошел до четырех бутылок в день. Он пил денатурированный спирт, одеколон, коньяк, водку, всевозможные крепкие смеси, исхудал так, что его меховой мешок висел на нем складками, едва передвигался, ползая по траве; его воспаленное лицо и блестящие глаза указывали на горячее состояние, но жизнь не уходила из этого худого, истощенного тела, горела, как искра под пеплом и ее нельзя было окончательно затушить всеми сортами напитков, которые он вливал в себя и днем и ночью.

Мы с Миллером страдали от мелкой мошкары, которая, как черная завеса, колебалась над поляной, от ночных холодов и лихорадок, но не желали ускорять дело и до конца помнили, что мы христиане. Я поставил около дикаря большую чашку, в которую постоянно вливал спирт и рисовую водку. Приходя в сознание, он протягивал руку к чашке, придвигал ее к себе и, не вставая, тянул жидкость.

Как-то вечером, когда багровое солнце опускалось за черную стену тайги, меня позвал тревожный голос Миллера.

— Идите скорей! посмотрите, что с ним такое?!

Древний человек встал, удерживаясь за стволы деревьев, потом выпрямился, диким голосом завыл какую-то песню, смотря кругом сумасшедшими глазами. В эту минуту на поляне, освещенной красным светом заходящего солнца, он показался мне даже величественным.

Миллер бросился за фотографическим аппаратом, но Ин-Ран, как дикий зверь, сделал большой прыжок через кустарник, росший над отвесным обрывом, и навсегда исчез в глубине реки.

Так погиб последний человек племени Каттов и вместе с ним утонула слава Миллера и мои честно заработанные деньги.

НЕМЫЕ ВОЛНЫ

I

Непременный член землеустроительной комиссии, Павел Иванович Акулов, сидел в просторной комнате на земской квартире, пил чай с малиновым вареньем и лениво ругал Сергея Сиганова. Акулову давно надоели мужики, надоела его работа, которую он называл «землерасстройством», опротивела выжженная степь, пыльные дороги, пустынные, белые села вдоль безводных пересохших речек.

Недавно он промотал большое имение и рассказывал, что его потому и назначили непременным членом, что он в два года ухитрился спустить тысячу десятин великолепного чернозема.

Промотал свою землю и Сиганов, с той разницей, что он безобразничал и пьянствовал в родной Песчанке, а Акулов жил в Петербурге и два раза ездил за границу.

— Как же это ты? — спрашивал непременный член, щуря глаза от ослепительного света на выбеленных стенах, подведенных синькой, на вымазанном глиной полу, усыпанном желтым песком. — Был у тебя отруб в четыре с половиной десятины, хороший кусок! Если бы не такому дураку, как ты, можно было бы завести улучшенное хозяйство, ну, там сад, что ли, пруд выкопать, карасей туда напустить, раков! Умные люди на одной десятине живут. Посмотри на себя! Волжский разбойник какой-то, одной рукой десять пудов поднимаешь, а глуп, как тетерев.

Сиганов слушал непременного члена с спокойной улыбкой, как взрослые слушают детей, может быть, даже и не слушал совсем. Он смотрел в окно, за которым качались высокий бурьяны, и думал что-то свое, далекое от этой комнаты с чисто вымытыми стеклами и пустых путанных речей скачущего барина.

— Что бы сказать ему еще? — подумал Акулов, размешивая в чае сверкающие искры солнечного света.

— Ты как пропивал землю?

Сиганов переступил с ноги на ногу, оставляя на мягком глиняном полу глубокие следы, и лениво ответил:

— Обыкновенно, как пропивают: сначала дома, а потом музыку нанял, по степи с флагами ездил...

И вспомнив что-то, должно быть очень веселое, Сиганов улыбнулся широкой, как степь, улыбкой, и его большое лицо стало почти красивым.

— Чему же ты радуешься, дурак? — сказал Акулов.

— Пять дней ездили. Дьячок пришел из Павловки, фельдшер увязался, бабы, девки. Шли плясом верст по двадцать в день...

Непременный член слушал Сиганова и на фоне пустой степи видел отдельный кабинет загородного Московского ресторана, пьяный цыганский хор, рыжую, кудрявую француженку Марго, хрустальные вазы с крешоном. В комнате толпятся какие-то незнакомые люди и все они с Акуловым на «ты», все куда-то исчезают, словно тонут в пестром, сверкающем водовороте, где кружатся красные бархатные диваны, цыганки, Марго в голубом платье, сверкающие вазы. В углу сидит приятель Акулова, предводитель дворянства Султанов. Он беспомощно свесил голову на манишку, залитую вином, опустил плечи и похож на деревянного складывающегося паяца, которого почему-то одели во фрак. Султанову дурно, он смешно открывает рот, как рыба на берегу, и служащий человек заботливо оттирает ему салфеткой колени и грудь.

Потом бледный хворый рассвет — разом выщвели и вылиняли все краски. Вместо сверкающего и кружащегося водоворота — грязная отмель, на которой осколки битой посуды, растрепанная, грузная фигура Султанова, объедки фрукт, залитая вином мебель. Акулов сжимает в руке пачку двадцатипятирублевых и, шатаясь, идет по длинному коридору, рассыпая деньги каким-то женщинам, лакеям, ресторанным распорядителям.

— А Париж! — Акулов даже привстал со стула, стараясь лучше рассмотреть в глубине степи картины, которые разом всплыли в его воображении. Высокий бритый провод-

ник — агент Кука — с лицом пастора, идет впереди по лестнице, устланной красным ковром, уставленной пальмами, и ободряюще говорит:

— Первоклассный дом! С разрешения правительства, под контролем государства! Тут есть гобелены и мебель из Версаля, кушетка Марии Антуанетты...

Потом Акулов сидит на этой настоящей или поддельной мебели из дворца «короля солнца», за столом, украшенным бронзой, по которому агент Кука стучит пальцем и кричит:

— Нет ему цены! Историческая реликвия!..

А крутом гирлянда красивых девушек, почти девочек, в розовых и белых рубашках, через которые просвечивается горячее тело.

Агент Кука дремлет в дальнем углу, ожидая Акулова, и время от времени повторяет все одну и ту же фразу:

— Не бойтесь, это учреждение государственное. Тут были принцы и короли. Я сам тут с одним высоким гостем три дня в гроте жил. Ходили голые, питались устрицами и омарами от Прюнье.

— Еще бы! — будь она проклята, эта степь! — вслух сказал Акулов.

— Ну, и пропили все, — продолжал Сиганов. — Четыре десятины, надолго ли хватит? Да еще Елохину за водку и вино сорок целковых задолжал.

— Пропавший ты человек, Сиганов! Что же ты теперь будешь делать?

— Вот то-то, что делать! Тут уж ничего не придумаешь.

Сиганов говорил равнодушно, как будто дело шло не о нем и его совершенно не занимал вопрос, как будет жить без земли рыжий великан, голову и плечи которого он видел в зеркале против себя.

— Выселяйся в Сибирь, на Дальний Восток. Там теперь люди нужны.

Сиганов вздохнул и молчал.

— Повезут тебя даром, кормить будут даром, а там... — Акулов неопределенно махнул рукой в алмазную даль, —

там столько богатства, что если бы оно досталось не таким дуракам, как мы, так в золоте зарыться можно.

— Где уж нам! — уныло ответил Сиганов.

— Ну едешь, что ли? все равно пропадать!

— Помирать все равно одинаково, что тут, что там. Хуже не будет, некуда!

— Ну вот, — Акулов закурил папиросу и примирительно сказал:

— Ты и России послужишь, государству... Знаешь, что такое государство?

Сиганов улыбнулся.

— А как же, очень даже знаю! Когда мужики бунт делали, мне от помещика Иваницкого зеркало преогромное досталось. Больше сажени. Не знаю, кто мне его на двор приволок. В хату не влезало, я его возле стены поставил. Так его от Павловки верст за пять видно было. Простояло два дня и бык его рогами разбил. Потом наказание было. Приехал виц.

— Вице-губернатор, — поправил Акулов.

— Плаксивый, как баба. Нас, как полагается, пороли, а виц сидит на крыльце в волости и каждому мужику наставление дает:

— Жалко, — говорит, — мне вас. Я понимаю, что порка обидна. — Это, — говорит, — вы, мужики, понять не умеете, а просвещенные народы не любят пороться.

Кто выслушал наставление, — скидывай штаны и иди под сарай, а виц плачет и кричит вдогонку: «Помни, что не люди тебя порют; а государство». Это мы знаем...

— Эх, Сиганов, все это не так. Голова у тебя большая, а глуп ты на удивление.

— За умными живем, — усмехаясь, ответил Сиганов.

— Ну, поговори мне еще! Писать тебя в Сибирь, что ли?

— Мне все одно.

— Ну, так я запишу.

— Записывайте, куда хотите! — Сиганов хлопнул дверью и вышел на залитую солнцем улицу.

— Эй, помещик, иди сюда! — закричал с угла лавочник Елохин, маленький, грязный, с красным носом и злыми,

колючими глазами, славившийся своим сластолюбием.

У Елохина была установлена такса на девок, замужних баб, солдаток и вдов. Такса эта, переписанная четким почерком, висела у него в спальне за ситцевым пологом и служила предметом бесконечных разговоров для приятелей Елохина. Зимой, когда подъедался хлеб и в темных, грязных избах плакали голодные дети, бабы осаждали лавочника и Елохин уплачивал по таксе не деньгами, а товаром: гнилой мукой, ржавыми селедками и баранками.

На высоком крыльце рядом с Елохиным стоял молодой, щеголеватый дьякон из соседнего села. На дьяконе была новенькая шуршащая ряса, лакированные ботинки, белая шляпа и весь он казался таким чистеньким и сияющим, как обмытый камень в ручье.

— Вот, обратите внимание, — визгливым голосом говорил Елохин, указывая на Сиганова. — Чемпион безводной степи, силу имеет неимоверную, а девать ему этой силы некуда! всего имущества — курица с перешибленной ногой, да ведро без дна. Ну, плати проценты! Вы, отец дьякон, станьте сюда в холодок и посмотрите на представление.

— Брось! — сказал Сиганов, — доиграешься когда-нибудь!

— А ты плати.

— Ну ладно уж, командуй.

Сиганов снял ситцевую розовую рубаху и стоял около весов с гирями. Лавочник протянул ему крепкую бечевку. Великан зажал зубами один конец бечевки, а другой привязал к пятипудовой гире.

— Пиль! — закричал Елохин. Сиганов взял в каждую руку еще по гире.

— Алле!

Великан медленно выпрямился и, напрягая мускулы, осторожно двинулся по крутой лестнице.

— Мускулатура, отец дьякон! обратите внимание! Дьявол, а не человек. Музейная вещь, — кричал Елохин, размахивая тонкими руками.

Тело Сиганова казалось отлитым из темного металла, ветер растрепал его рыжие волосы и они беспорядочно падали ему на лоб, окружая голову огненным сиянием.

— Чемпион! — кричал Елохин. — В нем такая сила, что дуб вывернет, да еще с корней землю отрясет, а между тем баба его по таксе приходила.

Сиганов бросил гири на пыльную дорогу и угрюмо сказал:

— Довольно — давай водки!

Виноградов подмигнул дьякону и, подбоченившись, заговорил наставительным тоном:

— Как же я могу в присутствии духовной особы поощрять пьянство? Лимонада или клюквенного кваса выпей, а водки нет.

— Не ломайся! — крикнул Сиганов таким голосом, что дьякон от испуга соскочил с ящика и зашептал Елохину:

— Дайте ему водки! Ведь он дикий совсем. Чего ему жалеть; ни впереди, ни позади.

— Ну хорошо, хорошо. На, пей! — Сиганов залпом опорожнил стакан, взял из кадки огурец и молча спустился с крыльца.

— Такого человека да за границу бы, — сказал Елохин. — Смотрите, мол, на Русь, какая она в естественную величину!

— Погибают, потому что нравственность упала, — сладким голосом ответил дьякон. — Устоев нет, о церкви забывают.

Солнце опускалось к далекой линии курганов; степь сбросила грязные, пыльные лохмотья, стала ясной и печальной. Высокие бурьяны и колючие, важные чертополохи с красными, мягкими цветами запутались в золотой солнечной пряже; на серой, истомленной земле переплелись тонкие тени. Мелководная речонка, разлившаяся под мостом в конце площади, улыбнулась и зарделась среди кованых серебряных отmelей.

Сиганов пошел было домой, но, увидев с угла свою хату, в которой было скучно и пусто, повернул к реке. Ему было стыдно, что он ходит по селу без дела и, чтобы скрыть стыд, он начал громко ругать непременно члена, Елохина, дьякона и отца Димитрия, который ехал к мосту на дрожках, застланных новеньким, пестрым ковром.

Отец Димитрий недавно окончил семинарию и пошел в священники, потому что женился на дочери благочинного и получил хорошее приданое. В гостиной у него стояла зеленая плюшевая мебель и стол с бронзовыми львами на выгнутых ножках. Пол был застлан ковром с пунцовыми цветами, разбросанными по желтому полю.

Такой роскошной обстановки не было ни у кого в степи и отец Димитрий требовал, чтобы его гости держали себя у него так, чтобы видно было, что они ни на минуту не забывают об окружающем их великолепии.

Учителю и дьякону батюшка кричал:

— Не разваливайтесь! сидите прямо; не забывайте, где находитесь! Здесь один ковер стоит дороже, чем вся ваша драная мебель.

Сторож и псаломщик были так подавлены этой роскошью, что называли квартиру батюшки «миражем» и упорно отказывались входить в гостиную.

Крестьянам, приходившим поздравить отца Димитрия с праздником, позволяли взглянуть на мираж из дверей передней.

— Что, каково? — спрашивал батюшка, стуча согнутым пальцем по зеркалу в золоченной раме, поворачивая стулья и кресла. Его бледное, злое лицо с редкой черной бородкой жадно обращалось к толпе. — Хотелось бы посидеть на этаким диване? А?

— Где уж нам в этаким благолепии. Взглянуть и то хорошо.

Весь этот мираж, принесенный попадье — хрустальная посуда, бронзовые подсвечники и лампы, мраморный умывальник и плюшевая мебель, — заслонили от отца Димитрия весь мир.

Он без конца ходил по комнатам, пересчитывал серебряные ложки, расставлял десертные тарелки, вазы, семь сортов рюмок и бокалов для вина и ликеров и мучился от тайного сознания, что он сам, сын дьячка, видевший дома деревянные искалеченные столы и стулья, не знает, как держать себя среди всего этого великолепия.

Оставаясь один, он устраивал репетиции приемов воображаемых гостей.

На лице снисходительное радушие. Вот он сидит тут в кресле; ветеринарный врач или земский начальник на диване. Нет! на диване сидят дамы: мужчины на стульях. Говорить надо медленно. Рука играет кистью бархатной скатерти, другая в кармане рясы.

Отец Димитрий устраивался в кресле и сбоку смотрел на себя в зеркало. Там было смущенное лицо, сгорбленная, деревянная фигура.

Плохо! далеко ему до актера Пронского, которого отец Димитрий еще семинаристом видел в пьесе «Великосветский зять». Батюшка хлопает дверью и идет к жене, некрасивой, маленькой женщине, которая по целым дням сидела у окна и смотрела в пустую степь.

— Лида, я вот тут придумал, — начинает отец Димитрий серьезно и внушительно. — Необходимо переставить диван к дверям, а кресла в беспорядке разбросать по комнате. Одно здесь, другое там.

— Как хочешь, — вяло отвечает матушка и всматривается в болезненную горячую даль, где нет ничего, кроме струящегося воздуха.

— Не понимаю, как ты можешь по целым дням сидеть неподвижно.

— А что же мне делать?

Делать, правда, нечего.

— Ну, так я переставлю?

Не дождавшись ответа, батюшка уходил в гостиную и долго возился с мебелью, и когда дело подходило к концу, с ужасом видел в зеркале отражение грязной улицы, с кучами навоза и свиней, подбирающих арбузные корки.

Эти свиньи словно гуляли в самой гостининой и маленькими глазами безучастно смотрели на позолоту и зеленый плюш. Приходилось переставлять все сначала.

В один весенний день пьяный Саганов, босой, без шапки, остановился под окном дома отца Димитрия, скатал ком черной, тяжелой грязи и запустил им в блестящее окно. Со звоном посыпались стекла; второй комок грязи при-

лип к зеркалу, третий угодил в бронзовую лампу с шелковым абажуром.

Отец Дмитрий, без рясы, выбежал на крыльцо и бестолково метался по широкому пустырю, на котором голубые лужи стояли в каймах талого снега. Он не кричал, а визжал от обиды и страха. Услышав этот визг, Сиганов застыл с откинутой назад рукой, в которой сжимал лишнюю грязь, с любопытством посмотрел на отца Дмитрия, плюнул и ушел.

— В Сибирь иду! — кричал Сиганов, спускаясь к искрящейся реке, к истонченному, разрытому обрыву.

Отец Дмитрий круто свернул в сторону и легкие дрожки запрыгали по кочкам.

— Боишься! — засмеялся Сиганов. — Не трону! надоели вы мне все. Если бы вы люди были, а то так, саранча...

— Хулиган! — крикнул батюшка. — Такому, как ты, в Сибири только и место.

— Это я-то хулиган? — спросил Сиганов, понижая голос до шепота, и в его фигуре, в выражении лица мелькнуло что-то дикое и хищное, совершенно чуждое мирной и тихой улице, грустным вербам над рекой, засыпающей, молчаливой степи.

— Ударь по лошадям, Егор! — закричал батюшка кучеру, но Сиганов успел уже выхватить вожжи и бешено гнал лошадей к обрыву, далеко под которым вечерними яркими цветами, пурпуром и золотом зацветала река. Лошади упирались и бились в упряжи; отец Дмитрий выскочил на дорогу и что-то кричал мужикам, которые купались под обрывом. Из соседнего двора выбежал церковный староста Данилыч с двумя сыновьями. Все они разом набросились на Сиганова и сбили его с ног. Он сейчас же поднялся, отшвырнул повисшего на руке старосту и, ударив кнутом Егора, пошел обратно к площади.

— Вы были свидетелями! — кричал отец Дмитрий. — Этого так нельзя оставить! Я губернатору буду жаловаться!

— Наплевать мне на твоего губернатора, — ответил Сиганов.

— Вы слышали?! Что же это такое?

— Оставь, батюшка! — суровым тоном сказал старик Данилыч, оправляя разорванную рубаху. — Дальше от него — меньше греха. Ему теперь один конец: он из всякого круга вышел. Помни, будешь жаловаться, я ничего не видел! У меня за домом сена пять стогов, чиркни спичкой, так полсела сгорит.

Чувствовалось какое-то скрытое беспокойство, затаенный страх в длинных, черных тенях, в шепоте верб, в красноватых, растекающихся мазках, которые заходящее солнце разбросало по стеклам окоп, по реке и пруду за селом.

Отец Димитрий молча пошел к дрожкам и угасшим голосом сказал Егору:

— Трогай! Уж если так с отцом духовным... Все вы тут заодно.

От обиды у него дрожала нижняя губа и хотелось плакать.

Степь и село, над которым поднимался проржавевший зеленый церковный купол, казались странными, непонятными и почти страшными.

— Наставления нет, — сказал Егор. — Вот народ и остается без последствий...

— Глуп ты, Егор! Какие тебе последствия? Пороть надо. Тюрьма нужна.

Егор хитро улыбнулся.

— Всех в тюрьму не спрячешь. Сиганов-то этот не один: у каждого язва.

— Ну, погоняй! Разговаривать вы все мастера.

На углу площади Сиганов столкнулся с Филатом Хомутовым, растрепанным мужиком, имевшим такой вид, как будто он постоянно кружился в каком-то вихре. С растрепанными волосами, выбивавшейся из штанов рубахой, Филька, пошатываясь, перебирался от дома к дому, удерживаясь за плетни и заборы, а когда выходил на дорогу, то его подхватывала невидимая буря и начинала кружить между пыльным бурьяном.

Хомутов недавно еще считался самым зажиточным хозяином во всей Песчанке. Работали сыновья, а отец любил умственные разговоры и с жадностью читал все, что попа-

дало ему под руку. Много лет он читал только Библию, привык к иносказаниям, к пророчествам, к притчам, в которых любил отыскивать указания на окружающую его жизнь.

Апокалипсис Хомутов знал наизусть и толковал его так, что в этой книге, как в спокойной реке, отражались все события, известия о которых доходили до Песчанки.

Потом Хомутов увлекся чтением газет, но старая привычка осталась и в каждой строке он старался найти что-то важное, большое и мудрое, нарочито скрытое автором под видом какого-нибудь пустого сообщения в хронике или фельетонной болтовни. Каким-то чудесным образом великая древняя поэма сплелась с мелкой степной жизнью, и от этого сплетения каждое, даже самое ничтожное событие получало огромное значение, горело и сверкало, как кусок стекла, на который упал луч вечного солнца.

Для Хомутова не было в мире ничего ничтожного: болезни, неурожай, свадьбы, — все находило себе место в огромном великолепном здании, поднимавшемся к небу и выше неба. Вся жизнь была тусклой и маленькой лужей, но где-то рядом она сливалась с бесконечным океаном, над которым проходят бури, плывут серые клубящиеся туманы и сверкают зарницы над далекими неведомыми берегами. Дыхание этого океана живо чувствовал Хомутов и, что бы он ни делал у себя на дворе, в темной унылой хате или в саду, он постоянно прислушивался к неземным голосам и по-детски просто верил, что он сам и его соседи, копающиеся в земле с утра до вечера, выполняют какое-то важное, необходимое дело, смысл и значение которого определены в полном согласии с высшей Правдой. Потом вся эта жизнь, красивая и цельная, сросшаяся глубокими, невидимыми корнями с древними откровениями, вдруг рассыпалась, распалась, как разваливаются обманчивые белые города, громождающиеся высоко над степью в жаркий июльский полдень.

Младший сын, солдат, ушел на войну и не вернулся. Старший оказался вmeshанным в нападении на почту и убийстве двух стражников. Его приговорили к смертной казни и повесили в губернском городе на тюремном дворе. Ста-

рик Хомутов в то утро, когда вешали его сына, забрался на колокольню соседней церкви и потом много раз со всеми мельчайшими подробностями, спокойно рассказывал и показывал, что делал палач, где стоял молодой Хомутов, как вынимали тело из петли и зарывали в яму. Эта картина, которую старик видел в голубом сумраке на тесном дворе, разом разбила его веру и жизнь. Он стал пьянствовать, продал опротивевшую ему землю, бестолково размотал и разбросал деньги. Когда он пил водку, то всегда ставил три стакана, один для себя, а два для своих мертвых ребят, и выдумывал такие тосты, за которые его сажали под арест, а один раз судили и приговорили на три месяца в тюрьму.

— В Сибирь иду, Филя! — кричал Сиганов, догоняя Хомутова под обрызганным золотом плетнем, над которым в тяжелой тени старых яблонь толкались комары и, спотыкаясь в воздухе, летал большой зеленый жук.

— В Сибирь! — Хомутов чему-то обрадовался и засмеялся. — Одна дорога. А у меня тут хуже Сибири! Я другое переселение надумал!

— Куда?

— Скоро и далеко! Вот пойду на речку и в омуте поищу новой стороны.

— Это тебя черт манит, — серьезно сказал Сиганов. — Он меня ночью водил по всему выгону: голос тонкий, а сам, как тощая собака.

— Знаю, — кивнул головой Хомутов и, смотря прищуренными, красными глазами на Сиганова, заговорил шепотом:

— Я как-то под утро шел по балке, туман расстилался в полчеловека, точно бабы холсты стлали; слышу, в лопухах кто-то смеется, раздвинул листья, а он там, сидит и смотрит на меня зелеными глазами.

— Ну что, — спрашивает, — и теперь в Бога веришь? Много помогает он тебе? — А сам от смеха давится.

— Ты-то, — говорю, — чего стоишь? У дьявола настоящая сила и власть, он царь зла, а ты мерзость, в лопухи забился, как жаба!

— Вот, вот! я-то и есть самое настоящее! Иной человек добром горит, насквозь светится, и верят люди, что в нем

правда и святость, а внутри у него я, маленький, мохнатый, свернусь и лежу, жду, и чем больше он сияет, тем больше мне, мохнатому, приятно. Глубже меня ни до чего не докопаешься! какую чистоту и святость не тронь, а внутри-то все я!

— От него никуда не уйдешь! — Хомутов махнул рукой и, шатаясь, пошел дальше, чуждый и странный среди деловой жизни села. Сиганову казалось, что за стариком, вдоль плетней и навозных гатей, крадется кто-то увертливый, черный и липкий; хихикает, машет тонкими, жилистыми руками, прячется в густых тенях, осторожно обходя разбросанные солнцем багровые пятна, как кошка обходит лужи.

Он лег на спину, положил волосатые руки под голову, забылся тяжелым похмельным сном и видел, как зеленый свет месяца заливает утрюмую степь, как серебрятся туманы в небе и над балками, точно в темной воде, проходят стаи сверкающих рыб. Пропал широкий пыльный шлях, исчезли проселки, пьяная от зноя, ароматная степь кружилась и плыла под звездами, задевая их верхушками черных тополей.

II

Переселенческий поезд медленно тащился по горелой тайге. Черные, обожженные деревья высоко поднимались над яркой зеленью кустов и молодых березок; тянулись вздрагивающие от холода болота, прятались в корявой чаще коричневые ручьи, стыдливо уползавшие в трубы под насыпью, как бродяга в грязных лохмотьях, который то-ропится свернуть в глубь тайги с проезжей дороги. В этом лесу не было ни радости, ни веселья: он прятал в своей ошестинившейся, напряженной глубине страдание, какую-то боль, от которой судорожно свернулись стволы и ветви, испуганно цеплялись друг за друга сосны и пихты, замолчала вода и низко поникли тяжелые травы.

В грязных вагонах было тесно и душно. Люди сидели и, лежали в три яруса: под скамьями, на скамьях и вверху на полках для вещей.

Новая жизнь, которая должна была начаться где-то за горелым лесом, в безвестной пустыне, никого ни манила. О ней почти не говорили. Все внимание было обращено к прежней старой жизни, к покинутому навсегда берегу, где остались все привязанности и все радости. Не было колонизаторов, смелых, энергичных, предприимчивых, легко и свободно идущих к новым нетронутым землям, к новым надеждам и широкой, вольной жизни — была апатичная, вялая толпа, задавленная голодовками, общей бестолковщиной, разрухой, потерявшая веру в жизнь и смысл жизни.

В горе и страдании, в слезах и проклятии рождаются первые источники того огромного человеческого потока, который беспрерывно льется через Урал. У русского переселенца нет своей земли обетованной, обвитой легендами, украшенной волнующими, влекущими, покоряющими ум и волю сказками о новой полной, прекрасной жизни. Пред ним проклятая Сибирь, печальная и темная, с которой сплелись только воспоминания о бесконечных страданиях, каторге, тюрьмах; безграничный склеп, куда уходили, как в бездонную пропасть, живые силы народа. Это страна скорби, политая слезами, политая горем.

Человеческий поток, перекатывающийся через Урал, не ждет ничего хорошего и светлого на второй родине за холодными Акмолинскими степями, за бескрайней черной тайгой, углем набросанной на бледном фоне сибирского неба.

Сиганов ехал с женой и двумя детьми. Рядом с ними поместился старик с розовым лицом, белыми, как пух, мягкими волосами. Никто в вагоне не знал, как звали этого старика. На вопрос об имени он торопливо дрожащими руками расстегивал заношенную холщовую рубаху, доставал сумку, подвешенную на ремне, силился развязать узлы, испуганно бормоча:

— Тут в бумагах все прописано! Сейчас бумагу достану и объявлюсь! Объявлюсь, родимые.

Но работа была трудная, кропотливая и кончалось дело тем, что спрашивавшим надоедало ждать и старик заботливо прятал на груди свою сумку. Он шатался по Сибири, разыскивая зятя и внуков, которые не то бросили, не то забыли его, как забывают надоевшую, всем мешающую и потерявшую ценность вещь. Чиновники, чтобы отвязаться от старика, выдавали ему билет на несколько станций или без билета впихивали в первый попавшийся поезд. И старик, кружась в переселенческом потоке, как щепка в реке, добирался до Амура, попадал в Манчжурию, возвращался обратно к Уралу, чтобы снова начать свои бесконечные странствования. Он жадно глотал куски хлеба, которые давала ему Дарья, жена Сиганова, по целым дням лежал на грязном заплеванном полу под лавкой и был похож на старую заблудившуюся собаку, которая на людной, шумной улице жадно льнет к прохожему, которого принимает за своего хозяина, пока тот не отпихнет ее ударом сапога.

Дарью забытый называл дочерью, Сиганова бранил за какие-то пропитые хомуты и путал со своим зятем. Когда он надоедал своими причитаниями, на него кричали:

— Замолчи: без тебя тошно! — Старик забивался под лавку или притворялся спящим, пока кто-нибудь не вспоминал об нем или не выгонял из-под лавки, чтобы занять его место.

— Вылезай, генерал! — кричал какой-нибудь переселенец. — Надо и мне полежать! Ну, ваше превосходительство, трогайся!

Старик покорно выползал на грудь мешков.

— Я вам не генерал.

— Как же не генерал? Сколько лет ты землю пахал?

— Не помню, может, семьдесят, может, больше. Всегда пахал, пока сила была.

— Ну и есть ты генерал около земли! За это тебя даром по Сибири таскают.

— Позови-ка дочку, поесть бы...

— Дочка твоя далеко: не найдешь, а корочку и я тебе дам.

Генерал от земли сосал обмусоленную корку, смотрел в окно, за которым расстилалась в синеватых тонах безграничная пустыня, и думал Бог знает о чем, долго и упорно собирая разбитые, разрозненные обрывки мыслей, которые тонули и гасли как огни, мелькающие в черной тайге около станций, и, наконец, одна, ясная, отчетливая мысль овладевала его сознанием. Он поднимал просветлевшие глаза и говорил твердым голосом:

— Помирать надо. Вот!

— Да уж чего тут, — отзывался кто-нибудь из темного угла вагона. — Больше некуда, как в землю!

— Дай Господи! — и старик размашисто крестился на черные сосны, на звезды, рассыпанные над чужим, страшным и непонятным краем.

В вагоне шли постоянные разговоры о том, что чиновники обманывают переселенцев и не выдают им положенного казной жалованья. Больше всех кричал об этом толстый, бледный, словно налитый водой Андрей Курганов. По грузной фигуре и тяжелым, медленным движениям Курганов походил на богатого подрядчика из мужиков или на кулака, но одет он был в изодранный нанковый кафтан, и весь его капитал, с которым он ехал устраиваться в необитаемых местах, заключался в серебряной мелочи, завязанной в угол платка.

— Ты мне мое подай! — гудел Курганов в вагоне и на переселенческих пунктах. — Переселенец — казенный человек. Его в такие дыры затыкают, где и зверьдохнет. Без жалованья ему не выжить. Околеет, это уж верно!

— Одни околеют, другие придут, — возражал цыган Илья, высокий, крепкий, одетый в красную рубаху и всегда имевший такой вид, как будто он готовится ринуться в драку и, засучивая рукава, стискивает белые зубы и злобно поводит глазами.

— Околевать человеку закон не позволяет, — твердит Курганов.

— Вот дурак! — кричал Илья злобно и радостно. — Толстая колода, а ум, как у цыпленка! Где же это ты такой закон видел?

— Тайный закон! — упрямо возразил Курганов. — Начальство скрывает, а я знаю.

— Бить тебя надо! Умнее станешь! Дураков и на ярмарке бьют!

— Верно, есть такой закон, — вздыхал хохол Сухарь в дальнем углу вагона. Он собирал битую посуду, тарелки, чашки, блюда, просверливал дыры шилом и сшивал черепки дратвой. Главная часть имущества Сухаря состояла из этой сшитой посуды, которую он таскал из вагона в вагон, в двух мешках, с такой осторожностью, как будто это был дорогой фарфор.

— Еще в писании сказано...

Илья скалил злобно зубы.

— В писании! Поди, попам расскажи! Вот как впустят тебя в моховое болото, залезешь под сосны, как волк, так узнаешь, по какому закону люди живут.

— Ну, а сам-то как же?

— Что как же?

— Зачем шел сюда?

— Мне все равно. Страха у меня нет! Иду, вот как есть, рубаха да штаны и в кармане медная гребенка.

Но в действительности у всех, и даже у цыгана Ильи, были и страх и щемящее чувство боли около сердца, и смутная надежда, что вдруг поезд понесет их назад. Исчезнет черная тайга, развернутся навстречу ласковые поля, и родина опять примет всех этих людей, истомленных холодом и нищетой, мысль которых упорно и настойчиво кружилась около смерти и не было у нее крыльев, чтоб подняться на такую высоту, откуда можно было рассмотреть новую жизнь на новых землях, к которым день и ночь тянула жестокая, беспощадная сила, дышащая в стальной машине.

На переселенческих пунктах, нищих и грязных, где все здания подтачивала и разрушала какая-то болезнь, окруженных глухой стеной тайги, чувствовалось то же веяние смерти. Каждая новая волна, катившаяся из далекой России, оставляла в этих гнилых строениях больных, сумасшедших, припадочных, калек и дряхлых стариков. В бараках на полу и широких нарах сидели и лежали люди, заблудившиеся

среди безграничного простора, отупевшие от отчаяния и мучительного сознания своей ненужности. Это были мусорные ямы, в которых копились живые отбросы.

Сиганова, как и других новых переселенцев, сначала пугали картины безысходного горя, которое облегло всю дорогу.

— К кладбищу едем, — говорит забытый старик.

— Почему, дед, к кладбищу? — спрашивал Сиганов.

— А вот, смотри! Сколько их тут. — Слепые, больные, убогие, всю дорогу облегли. Как в селе в поминальную субботу: сидят в два ряда, язвы показывают и Лазаря поют. Тут их со всей России собрали.

И Сиганову, как и другим переселенцам, начинало казаться, что где-то за щетинистыми деревьями, откуда ранним утром, рассыпая ломкие колючие лучи, выходит солнце, поднимаются огромные решетчатые ворота кладбища и к нему один за другим, постукивая колесами, днем и ночью идут переселенческие поезда.

Илья звенел в кармане медяками и кричал:

— Всем места хватит! Не бойтесь, без ямы не останетесь! Простору тут много!

Чиновники, растерянные и утомленные, боясь отставших человеческих залежей, отлагавшихся на промежуточных станциях, из сил выбивались, подгоняя живой поток, двигавшийся к Востоку, и зорко следили за каждой новой волной.

— Проходи, проходи! — кричали в канцеляриях, где выдавали грошовые пособия.

— Проходи! — гнали переселенцев со двора на платформу.

— Проходи! — орали стражники и надзиратели, загоняя мужиков и баб в вагоны.

Над всеми чувствами у Сиганова вырастала злоба, беспощадная и тупая ко всему на свете. К хмурому, молчаливому, бескрайнему лесу, к тощей земле, прикрытой моховыми болотами, к чиновникам, отделенным в канцеляриях толстыми деревянными и железными решетками, к переселенцам и к самому себе. Он видел, что все делается по

закону, все шли, как будто, по доброй воле, и все, что расстроило и разметало жизнь там, на родине, тоже произошло по закону и все же было сознание, глубокое и неискоренимое, какой-то несправедливости, обиды, которую нельзя было ни забыть, ни простить.

Ночью, когда густой мрак окутывал горелый лес и замерзшие синеватые дали, в поезде при свете коптящих ламп начиналось пьяное веселье. Плясали в узких проходах между мешками и узлами, тяжело притоптывая рваными сапогами, горланили песни и шлялись по вагонам.

Сиганов и цыган Илья, обнявшись, стояли на площадке и звонкими, крепкими голосами выкрикивали в темную чашу:

Рассея, Рассея,
Разнесчастная сторона,
Я работал, я потел,
Без нужды зажить хотел...

Впереди и сзади в грохочущем мраке подхватывал нестройный хор:

Эдак делал, так пытал,
Так и эдак голодал.

Колеса попадали в такт песне и без конца выстукивали: так и эдак... так и эдак... так и эдак...

— Стой, черти, замолчите! — ревел из среднего вагона бас пропойцы-регента, третий раз идущего в Сибирь. — Духовную будем петь, церковную! Эй, вы, подтягивай! На восьмой глас!

Он великолепным, сильным голосом запевал кощунственную, сальную песню и странно и дико было слушать, как он вкладывал в нее печальный, суровый оттенок.

Пьяные, орущие голоса путались, рвались, перебивали друг друга, сливались со звоном и гулом стали протяжными вздохами тайги. Ревущий и грохочущий поезд, выбрасывая снопы красного пламени, оставляя за собой рой за-

блудившихся искр, летел над насыпями и мостами, в широко расступавшуюся перед ним черную бездну и сзади широкими кругами смыкался тяжелый, молчаливый лес.

III

Вторую неделю дул влажный муссон. В лесу, над рекой, потерявшей берега и вползшей в густую чащу кустарников, над озерами, в которых утонули тополи и лиственницы, обвитые диким виноградом, беспрерывно слышался ровный, дружный шум дождя. Коричневые ручьи бежали по всем впадинам в черной земле, с тяжелым стоном валялись в ярко-зеленые логи, до краев забитые кустами шиповника и орешника.

Двадцать седьмой участок, куда попал Сиганов и еще три семьи переселенцев, находился на дне мелкой впадины, похожей на блюдце.

Жирная земля, которую никогда не трогал плуг, заросла травой в рост человека. Под проливным дождем трава вытягивалась все выше и выше, поднялась над молодыми дубками и вынесла свои узорчатые листья над шалашами и палатками, в которых жили переселенцы. Пробовали копать землянки, но ямы наполнялись до краев желтой водой, которая, как губку, пропитывала влажную почву.

Илья ушел обратно в Хабаровск искать работы. Курганов по целым дням неподвижно сидел около своей палатки из распоротых мешков, среди мокрого, пестрого скарба, прикрытого травой, и жаловался на чиновников, которые загнали его самого и его семью в болото.

Работать пробовал один старик Аносов. Маленький, черный, как обожженный сухарь, он с утра до вечера косил траву, копал гряды, с топором возился под гигантскими кедрами и лиственницами, которые угрюмо кивали сверху тяжелыми ветвями. Скошенная трава гнила, на ее месте быстро тянулась к свету новая, молодая поросль; вскопанная земля заплывала и превращалась в трясину. Стволы зеле-

ных великанов звенели от ударов иззубренного топора, оставившего на них едва заметные рубцы, и сам Аносов, среди этой могучей первобытной растительности, был похож на муравья, заблудившегося в крепкой траве.

Веселее всех была семья Арефовых. Они все, бабы и мужики, ладно и согласно, без ссоры и ругани, пропивали казенное пособие. Хлопотливо и усердно, как на престольный праздник, мать и дочь Арефовы, красивые, крепкие женщины, пекли пироги, что-то с утра жарили и варили, не обращая внимания на муссон, тащивший с востока горы туч. Мужчины сидели на бочках и ящиках, пили водку, подносили соседям и каждую рюмку сопровождали различными пожеланиями.

— Ну, давай Бог, чтобы как вам, так и нам! — говорил старик Арефов, поднимаясь с мокрой травы и отстраняя рукой, в которой держал рюмку, склеенную сургучом, зеленую узорчатую стену.

— Жить и радоваться!

Потом поднимался сын.

— Пожелаем радостей и веселья на новых местах!

— Вот заест тебя трава, так узнаешь, какое тут веселье, — бурчал Курганов. — И чего празднуют? Плакать надо.

— Тут и так воды много, — отшучивались бабы.

Заблудившийся ручей выбежал на поляну, покружился по ней и, не найдя выхода, разлился в спокойное озеро, над которым в прелом воздухе задыхались сочные травы, убранные белыми цветами.

Сильнее всего угнетало переселенцев отсутствие жизни. Кругом на сотни верст был пустой сказочный лес, без птиц, зверей, без дорог и тропинок, угрюмый и неподвижный. За все время забрел на участок только какой-то горбатый китаец в синем халате, в широкополой помятой шляпе. Он долго стоял на опушке, до пояса утонув в траве, рассматривая переселенцев хитрыми прищуренными глазами.

— Иди сюда! — позвал его Арефов, обрадовавшись новому человеку. — У нас тут новоселье — гостем будешь.

Китаец с равнодушным видом протянул к стакану худую грязную руку, на которой не доставало большого паль-

ца, вытер губы рукавом халата и сказал вялым безучастным тоном, как будто речь шла о чем-то неизмеримо далеком:

— Шибко плохо тут есть! Большая вода идет вот там, — он показал на высокие стволы кедров. — Ваша помилайла будет, вся помилайла...

— Зачем помирать? — удивился старик Арефов. — Жить приехали.

— Шибкая вода, — повторил китаец. — Моя есть охотник Син-Лин — большой охотник: ламза ходил, соболь ходил. Вот моя рука, вот тайга. — Син-Лин поднял ладонь, потом указал на лес, желая, должно быть, сказать, что он так же хорошо знает эту мрачную таинственную пустыню, как свою руку, повернулся и молча пошел в чащу кустарника.

— Чудной человек! — сказал Арефов, — странник какой-то или юродивый. У них, у китайцев, есть юродивые?

— Хунхуз, разбойник, вот он кто! — ответил Курганов. — Попадись таким, — все ограбят, живым уши порежут, да к дереву гвоздиками и прибьют. Смотреть приходил, справки собирал.

— Ну, уж ты скажешь. Просто человек по соседству зашел, они, китайцы — люди хорошие, внимательные!

Но всем вдруг стало страшно среди этой зеленой молчаливой пустыни, полной нежных, непонятных шорохов, какого-то скрытого огромного движения, которое чувствовалось в непрерывном колыпании веток, листьев и травы над ручьями. Казалось, где-то кругом, в жирной земле, в лиловых тучах, в широких пенистых потоках, в железных стволах, судорожно скрученных корнях притаилась безграничная стихийная сила и тайга вздрагивала и трепетала, как тело хищного зверя, готовящегося к нападению и напрягающего всю силу мускулов. Особенно невыносимо мучительным становилось чувство страха ночью, когда в мягком мраке исчезали травы, деревья, озеро и было слышно ровное могучее дыхание леса.

Сиганов ясно, до физической боли чувствовал эту невидимую скрытую опасность. Ночью он вставал и медленно крадучись, как у себя на родине в ту ночь, когда собирал-

ся поджечь помещичий дом, обходил вокруг поляны. Невидимые листья на гибких стеблях сбрасывали струи воды, ноги тонули в вязкой почве и под деревьями приходилось идти с вытянутыми руками, чтобы не наткнуться на стволы. Напряженный слух улавливал все звуки, как бы ничтожны они ни были, которые примешивались к однообразному, нарастающему и падающему шуму леса. Иногда Сиганов с закрытыми глазами останавливался около какого-нибудь мокрого ствола и весь уходил в слух. В родной степи он мог бы угадать причину каждого шороха, но здесь все было загадочно и таинственно, как в старой сказке.

Что кто-то ходил в лесу вокруг того места, где жили переселенцы, в этом он не сомневался. Сиганов часто слышал крадущиеся ровные шаги, еще более осторожные, чем его собственные, но не умел разобрать, был это человек или зверь. Сергей старался постоянно держаться между людьми и тем таинственным бродягой, который упорно кружил на опушке, но это удавалось не всегда. — Зверь или человек ходил ночью так уверенно и быстро, что сбивал все расчеты и неожиданно оказывался то сзади, то впереди. Следов не было или их замывал дождь, и это обстоятельство так пугало переселенцев, что старик Аносов и бабы кропили вокруг стоянки святой водой и вешали на деревья иконки. Настроение у всех стало тяжелым и подавленным; о работе никто не думал. Один Сиганов не поддавался общему страху и почти обрадовался, когда после одной ночи нашел под кедрами на берегу озера ясные отпечатки тигровых лап.

С этого дня переселенцы очутились в осаде. Тигр днем лежал где-то совсем близко и постепенно терял страх перед людьми. Он перестал скрываться, его раскатистый рев часто слышался из зарослей тростника, а из палатки Алферовых, вокруг которой трава была скошена до лесной опушки, часто видели в кудрявой, блестящей от дождя чаще круглую, седую голову и полосатое тело зверя.

— Живем, как гнездо мышей перед котом, — пробовал шутить Алферов, — если бы ружье хорошее, то можно бы-

ло бы с ним воевать, а дробовиком что поделаешь, только разозлишь.

— Таким хулиганам, как мы, начальство ружья хорошего не даст, — криво усмехался Курганов, — бунтовать еще вздумаете! Вон Сиганову переселенческий чиновник сказал, что ему бы лучше в городе не показываться. По роже, говорит, вижу, что разбойник. Очень уж хороший ему аттестат с родины дали.

— Вот дурак — где же тут бунтовать в эдакой глуши, — искренне возмущался Алферов.

— Может, кто и дурак, только не я. Не бранись, старик, все равно от тигра никуда не уйдешь. Ты бы, Сергей, придумал что, — обращался он к Сиганову.

— Придумаю, — угрюмо отвечал Сергей. — Мы еще повоюем.

— Что ты с голыми руками сделаешь?

Сиганов молчал, потому что сам не знал, что будет делать, но как-то у всех сложилась непоколебимая уверенность, что единственным противником полосатого кота, как называли они тигра, является только Сиганов. Понимал это, по-видимому, и тигр, который, поднимая голову над стеною кустарников, неизменно встречал твердый упорный взгляд Сиганова. Все ждали развязки, но наступила она неожиданно и для людей и для тигра.

Над зубчатыми изломанными вершинами, скрывавшими океан, прошла гроза. Как огромные глыбы, вывороченные стихийной силой из глубины земли, двигались тяжелые черно-лиловые тучи.

При каждой вспышке молнии из кованой медной чаши лились на тусклую землю потоки синеватого пламени и расплавленного металла, змеистыми струями бежавшего по воде.

В тайге стояла такая тишина, что слышно было, как скрипят надломленные деревья и шепчутся заблудившиеся ручьи.

После грозы наступил ясный, холодный вечер. Сиганов и Арефов разложили костер и молча сидели около огня, затканного клубами едкого дыма.

Не хотелось ни о чем ни говорить, ни думать.

У всех на поляне было одно общее желание — уйти, бежать из постылого леса, но все понимали, что уйти некуда. Здесь, в темных сумеречных стенах тайги, где их сторожил тигр и разлившаяся вода, они должны были начать новую жизнь или медленно умирать от голода и болезней.

Никто не хотел думать о завтрашнем дне и не было его, этого будущего дня. Медленно вспыхивало красноватое пламя на мокрых сучьях. Рассыпались и гасли искры; избыбшие люди внимательно следили за красными струйками огня, как будто с последней вспышкой пламени должна была догореть их собственная жизнь.

— Вода идет! — сказал Курганов откуда-то из густого мрака. — На берег вылезала, скоро Арефовых смоет. — Он спокойно подошел к костру и неторопливо закурил папиросу, прикрывая тлеющую ветку долой мокрого кафтана.

Сиганов встал и, шлепая по лужам тяжелыми сапогами, пошел к озеру.

В двух шагах ничего не было видно, но со стороны Сихотэ-Алиня доносился неясный гул, похожий на шум многоголовой толпы, спускавшейся с гор в долину. Озеро быстро поднималось. Бесшумная черная вода подступила к лиственницам, которые еще утром были далеко от озера, и затопила чащу кустарников.

Где-то совсем близко заревел тигр, но в его реве слышался теперь страх и тревога.

— Надо уходить, — подумал Сергей, и где-то в глубине души у него опять шевельнулось чувство неотвратимой приближающейся опасности, которая слышалась в неясном шуме и гуле из глубины тайги.

Люди бестолково метались впотьмах, увязывая тряпье, собирая разбросанные топоры и косы, натываясь друг на друга, попадая в воду, которая, как ночной мрак, вползала из глубоких оврагов и лесной чащи.

Сиганов обвязал веревку вокруг пояса и наудачу пошел в ту сторону, где он днем видел гряду холмов, но, сделав несколько шагов, попал в глубокую ложбину, в которой вода доходила ему до плеч, и вернулся назад, раздвигая

плотную стену мокрой травы.

— Скорей! скорей! — кричал молодой Арефов, который держал другой конец веревки, — у нас весь хлеб подмыло.

Дети плакали, бабы торопливо успокаивали их упавшими голосами. Из толпы кричали что-то Сиганову, перебывая друг друга, но шум тайги и всплески надвигающегося потока заглушали все голоса.

Самое высокое место, куда еще не достала вода, тянулось узкой полосой к старым кедром, но там в чаще орешника лежал тигр. Сиганов посмотрел на черные тени, мелькавшие в красноватом свете догорающего костра, и пошел к кедром.

— Куда ты? — кричал Курганов. — Вернись... Задавит он тебя, как мышшь.

Но зверь уже услышал шаги Сиганова. Он поднял голову и смотрел на человека мерцающим неподвижным взглядом. Человек не спускал глаз с этих двух блестящих желтых точек над кустарником и, медленно раздвигая ветви, шел по узкому перешейку.

Смутные голоса воды, доносившиеся с горной тайги, превратились теперь в грозный оглушительный рев. Тигр тревожно прислушивался к этому шуму и беспокойно двигался в мокрой чаще. Оставалось еще пять или шесть шагов. Сиганов чувствовал, что остановиться теперь нельзя. Перед ним мелькнула на мгновение далекая степь в золотом загаре летнего вечера, белые мазанки над искрящейся рекой, худенькое бледное лицо дочери Анютки, которая осталась на затопленном клочке земли.

Еще шаг... другой...

Тигр медленно начал отступать. Он вышел из орешника, остановился под кедром, прислушиваясь к буйным воплям и крикам бешеных потоков, несущихся с гор через тайгу, широким прыжком перепрыгнул через ручей и бесшумно исчез под деревьями. Сиганов почувствовал, как сразу ослабело его напряженное до боли тело.

Он перешел через глубокую ложбину, до краев наполненную водой, привязал веревку к обомшелому стволу и

бегом вернулся назад, спотыкаясь о корни и кустарники, по пояс утопая в холодной воде.

Потоки, ворвавшиеся в тайгу с дикого Алиня, неслись уже по долине, как табун взбесившихся лошадей, которые, распутив по ветру белые гривы и взбивая копытами землю и камни, мчатся через кустарники и заросли тростника.

Прежде, чем Сиганов добежал до стоянки, на ее месте расстилалось сплошное озеро, над которым дружно шумел дождь.

— Сюда, сюда! — кричал Сергей, но голос его едва был слышен среди гула тайги, воя и плеска движущихся вод. Испуганные дрожащие люди с детьми и мешками в руках медленно выбирались из перепутанных кустарников и, ослепленные мраком, оглушенные мощным, невидимым движением воды и леса, отзывались слабыми голосами.

Недоставало одного старика Арефова.

Казалось, будто он кричал откуда-то справа, потом голос его послышался далеко впереди или, может быть, откликнулось эхо.

Сиганов прислушался к этому слабому голосу, двинулся было в ревуший мрак, но сейчас же упал, подхваченный сильным напором воды, катившейся рядом с холмом, уцепился за ветку орешника и выбрался на берег.

Молча, низко согнувшись под тяжелыми узлами, двинулись вглубь тайги, торопясь и напрягая все силы, чтобы скорее уйти от наступающего злобного потока.

На вершине холма под кедрами было сухо. Деревья сплелись так густо, что дождь почти не попадал на землю, и когда обессиленные люди опустились на мягкую хвою, ими овладело отчаяние. Они плакали, молились, жаловались кому-то невидимому, но ровный шум дождя, рев воды и спокойный гул в вершинах деревьев заглушал голоса людей; их мольбы, брань и жалобы тонули в общем шуме над землей, как тонет всплеск волны в гуле морского прибоя.

К Сиганову подошла жена Арефова.

— Нет нашего, — сказала она странно спокойным голосом.

— Нету, — сурово ответил Сиганов, раздувая костер.

— Что же теперь будет?

— Не знаю! Как-нибудь... — Сергей старался не смотреть на нее и осторожно подкладывал ветки в шипевшее пламя.

— Царство ему небесное! — отозвался Курганов. — Нашел свое место. Веселый был человек.

Баба как будто только теперь поняла, что старик Арефов никогда не вернется к своей семье, что его тело кружится где-то в бешеном потоке, пролагающем путь к широкой Уссури, и бросилась к Сиганову.

— Пойди! Бога буду молить!.. пожалей нас, сирот... — Она валялась на земле, цепляясь руками за грязные сапоги Сергея.

— Бог-то, пожалуй, не услышит! — с приливом злобы ответил Сергей. — Ну хорошо, не вой, пойду. — Он снял мокрую одежду и медленно двинулся вниз к озеру.

— Не пуцу! — крикнула Дарья, цепляясь за руку мужа. — И не думай! Не ходи.

Сиганов молча отстранил жену и утонул в шумном говорливом мраке.

Высокое пламя костра колебалось на стене густой зелени, слабо освещало певучую воду, радостно и весело уносившуюся через дикий лес.

Осторожно, нащупывая дно длинной палкой, Сергей вошел в воду, которая доходила ему до пояса. Постоянно приходилось менять направление, потому что на тех местах, которые еще недавно казались ровными, появились ямы и глубокие ложбины. Вода валила с ног и Сиганову приходилось удерживаться за кусты и деревья. Дождь перестал и при слабом свете звезд видна была ровная пелена воды, над которой поднимались неясные лохматые вершины отдельных деревьев. Сергей закричал и ему казалось, что откуда-то спереди доносится едва слышный голос Арефова. Он бросил палку и поплыл, но не рассчитал силы потока и, как только сделал несколько взмахов, вода подхватила его и, кружа, понесла от берега.

Напрягая все силы, Сиганов плыл к одинокой лиственнице, но течение его уносило все дальше и дальше, и скоро он увидел далеко в стороне бледное, желтое пятно костра

и едва заметную черную стену тайги. Там, где было озеро, поток делал крутой поворот к северу и замедлял течение. Быстро промелькнула и потонула во мраке вершина сосны, за ней другая, третья... Наконец, ему удалось удержаться за низко свесившуюся ветвь.

— Илья! — крикнул он в пустую тьму. Ничего не слышно. Только ветер плачет в тяжелых ветвях и волны плещутся между стволами потопленных сосен, как под сваями разрушенного моста.

— Илья!

Кто-то ответил, но таким слабым голосом, что нельзя было разобрать, голос ли это человека или крик птиц. Минуту спустя Сергей услышал тот же голос, доносившийся с места прежней стоянки.

Сиганов долго отдыхал, сидя в развалине сосны, потом бросился в воду и стараясь держаться дальше от пенистой стремнины, которая шла через все озеро, поплыл к неясно черневшейся куче деревьев. Арефова он увидел, когда еще подплывал к деревьям. Старик был так близко от воды, что если бы озеро поднялось еще немного, то его смыл бы поток, огибавший дерево с той стороны, откуда плыл Сиганов.

— Это ты, Сергей? — спросил Арефов. — Смерть наша пришла. Жив ли кто?

— Все живы! Вот только за тобой по лесу гоняюсь, — сердито ответил Сиганов. — Вздохну немного и поплывем.

— Я не смогу — силы нет.

— Ну и пропадай, черт с тобой! Там бабы твои ревут, а мне все равно, хоть все вы пропадите!

Старик молчал и среди мокрых ветвей дерева был похож на изящную птицу, загнанную сюда ветром и дождем.

— Ну, плывем, что ли?

Арефов вздохнул и, вздрагивая, спустился с дерева в воду.

— Держись за меня! Только за пояс. За пояс, говорю тебе, а не за руки. Черт!

Теперь Сиганов хорошо знал, где проходит опасное течение, и осторожно подвигался от дерева к дереву.

Бледным желтым пятном загорелся костер, выросла гряда кустарников, но Сиганову казалось, что они никогда не доберутся до берега, до твердой земли. Он тяжело дышал, крепкие мускулы еще работали, но в голове стоял шум и хотелось сбросить с себя тяжелое тело Арефова, судорожно уцепившегося за ременный пояс.

Наконец, Сергей нащупал ногой вязкое дно и, шатаясь, пошел к кустарникам.

— Дай тебе Бог! — сказал старик, когда он увидел огонь и своих баб в белом дыму, окутавшем всю поляну. Хотел еще что-то сказать, но заплакал и пошел к костру.

Потянулись тоскливые, голодные дни. Почти весь хлеб остался в воде. Муку мешали с корой; собирали ягоды и какие-то луковицы, вкусом похожие на репу.

В каждой семье были больные, но на них не обращали внимания. Первой умерла старуха Аносова, потом девочка у Арефовых. Высокие кресты прятались в густой зеленой чаще, и всем казалось страшным и непонятным, что старуха и девочка лежат в этом глухом лесу и останутся здесь, когда они все разбредутся, и только солнце будет заглядывать в густую сочную траву над могилами.

Приходил китаец Лин-Сан. Молча, как и в первый раз, смотрел на переселенцев, сидя на корточках и держа между коленями старенькое ружье.

— Плохо! — сказал он. — Лабота надо.

— Да где же ее взять, работы-то? — сказал Арефов.

— Там есть лабота, — китаец указал вглубь тайги. — Новая дорога. Я покажу. Не надо помирать!

Молодой Арефов и Сиганов могли идти, все остальные были больны.

— Лин-Сану лабота не нада. Ему охото нада, ламза надо.

Мелькнула слабая надежда выбраться из тайги. Все про-светлели. Бабы Арефовы напекли блинов и, как прежде, быстро и ладно хлопотали около горшков и чугунов.

— Водочки нет, — жаловался старик Арефов. — Другой раз зайдешь, — угостим.

После обеда китаец закинул ружье за плечи и, не оборачиваясь, пошел в тайгу. За ним шли Сиганов и Арефов. На повороте Сиганов остановился и долгим взглядом посмотрел на поляну, залитую тусклым светом бледного, холодного солнца.

IV

О дороге в Буринскую тайгу, куда китаец привел Сиганова, рабочие, инженеры и подрядчики говорили, что она нигде не начинается и нигде не кончается. Белая полоса шоссе тянулась по болоту от глухой станции, на которой в сочной высокой траве тонули груды гнилых шпал и ржавые рельсы, вползала в первобытный дикий лес и бестолково блуждала под зелеными узорчатыми сводами.

На широких просеках лежали рядами поваленные деревья, опутанные колючей ежевикой с черно-сизыми мелкими ягодами, прикрытыми кустами шиповника и молодыми березками. По шоссе никто не ездил и зеленое войско дружно наступало на новую дорогу, подкапываясь под нее длинными корнями, трава и молодые деревца раздвигали камни и густая поросль пробивалась через желтый мокрый песок, которым была усыпана дорога.

Напуганные шумом, стуком топоров, треском подрубленных деревьев, говором, песнями и криками рабочих, волки, медведи и лоси бежали в глубь леса, но по мере того, как белая лента уходила все дальше и дальше, звери возвращались на старые места и скоро оценили работу людей. Волки, жившие на таежной опушке, бегали по дороге к глухим, далеким логом; на просеке большая хромая медведица играла с медвежатами, которые с кучи щебня и песка кувырком скатывались на траву в чашу кустарников. Иногда в лунные ночи на дорогу выходил тигр-людоед, подстерегавший рабочих, и ленивой походкой, зевая так,

что хрустели челюсти, презрительно щура зеленые глаза, направлялся к тому месту, где продолжалась постройка. Завидев тигра, медведица торопливо собирала свое семейство, как толстая испуганная баба на деревенской улице собирает детей, уводила их в чащу лиственниц и маленькими хитрыми глазами следила оттуда за всеми движениями царя тайги. Из-за ее спины выглядывали улыбающиеся морды медвежат, которым хотелось выбежать на белую дорогу и подразнить важного прохожего. Но каждый раз, когда кто-нибудь из них вылезал вперед, мать била его мохнатой лапой и сердито швыряла в густую тень под деревьями.

Волки почтительно уступали дорогу полосатому хищнику, мелкой рысью сворачивали в сторону, садились на просеке и выли, поднимая острые морды. Они знали, что тигр их не замечает, как будто их тут совсем не было, и поэтому садились на поваленные деревья, на кучи нарытой земли и были довольны, когда царь тайги бросал на них скупающий взгляд, каким счастье, сила и слава смотрят на нищету, слабость и голодную жадную зависть.

Тигр съел уже четырех рабочих и одного опасно ранил. Он предпочитал китайцев, но когда выбора не было, нападал и на русских. На постройке все знали о вкусах хищника, и поэтому главный инженер Фомичев никогда не уходил в лес без китайца-манчжура Сан-Чао, которого звали «тигровой приманкой». Сан-Чао был хорошо откормлен; из-под синего халата видна была мускулистая желтая грудь, крепкая шея и для тигра он представлял лакомый кусок, особенно рядом с худым, жестким Фомичевым, но так как инженер со своей живой приманкой выходил днем, а тигр не любил охотиться при свете солнца, то Сан-Чао мог получать жалованье так же спокойно, как если бы жил на главной улице Харбина.

Дорога дошла до длинной болотистой поляны, похожей на коридор, протянувшийся между двумя рядами серых высоких колонн, украшенных непонятными иероглифами, которыми белые и желтые лишай расписали стволы лиственниц и кедров, и застланный пестрым моховым ковром.

Посредине поляны на высоту в три-четыре сажени поднимался овальный холм, покрытый редкой тощей травой на глинистых склонах. На вершине холма лежали два древних камня, на которых были глубоко вырезаны какие-то слова; дожди и мороз наполовину стерли буквы, добавили новые, и надпись, начертанная рукой человека и природы, стала такой запутанной и неясной, что нельзя было даже сказать, на каком языке говорили люди, насыпавшие курган и взгромоздившие на его плоскую вершину тяжелые желтые плиты.

Рабочие жили под открытым небом и в шалашах, похожих на большие костры. Инженер Фомичев, его помощник Глебов и студент-путеец Тихонов спали в палатках, а днем, когда не было работы, сидели или лежали на истрепанном ковре под тяжелыми узорчатыми ветвями, через которые просачивались золотые струи солнечного света.

От того, что дорога никому не была нужна и с каждым поворотом все глубже и глубже уходила в сумрачный, то-скливый лес, которому не было конца, все работали неохотно. До станции было сорок верст, хлеба часто не хватало и люди по целым дням питались ягодами, сухарями, пили ржавую воду из болота, болели лихорадками и тифом и разбегались каждую субботу после получки денег.

Выбирать было не из кого, и Фомичев принимал всех, кто приходил к нему в тайгу. Больше всего было переселенцев, забросивших свои участки, чтобы не умереть с голоду. Но приходили и старатели с золотых приисков, бродяги, беглые, какие-то «божии люди», ожидавшие пришествия Антихриста, преступники, скрывавшиеся в тайге от суда, пропойцы, охотники и беглые солдаты.

Главный инженер боялся этой пестрой толпы, в которой почти каждый человек приносил воспоминание о грабежах, убийствах, каторжных тюрьмах, о бесконечных голодных скитаниях и смутное сознание о жестокости и несправедливости того порядка, который выбросил его из далекой родины и властвовал за пределами зеленой пустыни.

Фомичев каждую субботу говорил рабочим, что денег у него нет, и если его убьют, то не отыщут и трех рублей.

Рабочие знали, что их боятся, и с снисходительным презрением смотрели на свое начальство.

Бродяга Гудок, лохматый и шершавый, как опаленный пожаром куст можжевельника, и чахоточный беглый солдат Гомулин, которого рабочие звали «Дохлым», а инженеры «разбойником в квадрате», потешались над страхом Фомичева и разыгрывали целые комедии при немом сочувствии сотни зрителей.

Во время обеденного перерыва Гудок садился на кургане, вынимал из порыжевшего голенища длинный нож и начинал точить его о камень.

— Ты что делаешь? — спрашивал его солдат. — Доиграешься когда-нибудь.

— Отстань! Надоело землю рыть. Сладкой пищи захотел!

— Дурак! Из-за трех рублей человека погубишь!

— И три рубля деньги, и за три копейки режут.

— Говори прямо: крови захотел. Мало тебя в тюрьмах гноили.

— Уходи! какой святой объявился; я то знаю, зачем ты ночью вокруг палаток ходишь.

Фомичев слышал весь разговор, но делал вид, что не замечает Гудка, который пробовал на пальце блестящее лезвие отточенного ножа, и приказывал китайцу принести револьвер. Инженер не умел стрелять и револьвер не был заряжен, но Фомичев долго и внимательно рассматривал граненый ствол, прицеливался в деревья и громко говорил Глебову, так, чтобы слышали рабочие:

— Двенадцать зарядов — двенадцать человек! Я гимназистом на пятьдесят шагов в туза попадал, гвозди пулями вбивал!

Гудок смеялся и рассказывал, ни к кому не обращаясь, длинную историю о том, как он где-то на Волге голыми руками убил и ограбил барина-охотника.

— Птицу без промаха влет бил, а в человека стрелять не мог; поднимет ружье и опустит, руки дрожат и голос перехватывается — ва, ва, ва!.. я стоял с ножиком около камыша и смеялся. Целься, говорю, лучше! В последний раз

охотишься! Потом подошел так, не торопясь; взял барины за глотку, голову поднял и полоснул ножом.

И нельзя было разобрать, правду говорит или врет Гудок. Фомичев смотрел на сумрачную тайгу, которая без конца нашептывала темные преступные мысли, уходил в палатку, садился на жесткую кровать, пил коньяк и при свете оплывшей свечи невольно представлял себе, как войдет Гудок или еще кто-нибудь, ну, хотя бы этот «разбойник в квадрате», нащупает впотьмах его длинную худую шею, сдавит ее железными пальцами и засмеется. Непременно засмеется! Этот противный смех будет последним, что услышит он, Фомичев, а утром его тело с лицом, облепленным комарами, будет лежать на кровати посередине палатки, и рабочий Яшка «Божий человек», гнусавым голосом, по складам, будет читать над ним псалтырь, закапанную воском, с грязными обмусоленными страницами.

Вечером, когда осторожно подкрадывалась тьма, инженер выходил из палатки и деланно спокойным голосом звал Гудка.

Бродяга живо и даже весело откликался. Его лицо, густо заросшее черной свалывшейся бородой, ласково улыбалось, серые глаза смотрели лукаво и притворно строго.

— Слушай, Гудок, — говорил инженер, вздрагивая от черного холода и смотря в сторону. — Ты хороший работник, усердный работник! Я думаю, недели через две, выдать тебе награду.

— Много благодарны!

— Ну там, рублей двадцать, тридцать! А сейчас подарю тебе старые сапоги. Хороший ты человек. Веселый, трезвый!

— Лучше меня во всей тайге не сыщете!

Бродяга брал под мышки сапоги и, приплясывая с шутковскими ужимками, с которыми он работал, молился, шатался по таежным дорогам, пьянствовал и дрался, шел в свою нору между ветвями поваленной сосны.

Ночью, когда тайга сдвигалась, исчезали отдельные деревья и дикий лес превращался в одно существо, рабочие шепотом рассказывали друг другу о своей прошлой жизни,

и хотя они собрались со всех концов России, казалось, будто рассказывает все один человек, без конца повторяющий длинную скучную историю о нужде, голоде, пьянстве, тюрьмах и бесконечных голодных скитаниях. Была одна общая повесть и всем она надоела, как осенняя ночь.

Слушатели оживлялись только тогда, когда кто-нибудь начинал вслух мечтать; впутывал в сухие жесткие нити того, что было, яркие узоры вымысла; и чем неожиданнее и невероятнее был вымысел, тем больше внимания и одобрения вызывал он у слушателей.

Беглый каторжник, Лямка, рассказывал о шапке-невидимке, в которой он ходил по Петербургу.

Бойкий человек, Яков, нараспев врал о своем странствовании под землей из Иерусалима к Арапату.

— Иду с белой котомочкой, сверху золотой песок сыплется, по сторонам восковые тоненькие свечи горят и ангелы белыми крылами помахивают...

Горбач (рабочий с золотых приисков) Крот искал золото на далеком севере и зашел в долину, «где не было воздуха и в два ряда каменные люди стояли». Среди долины кучами лежало золото, как кирпичи на постройке, но когда Крот начал собирать рассыпанное богатство, каменные люди сдвинулись со своих мест и окружили его плотной стеной.

Поляк со странным прозвищем — Картомастный, с увлечением и мельчайшими подробностями рассказывал, как он в одну ночь прогулял пятьдесят тысяч! Ночь эта тянулась без конца. В течение ее рассказчик успел побывать: в Варшаве, Ломже, во Владивостоке, но точной географии никто и не требовал.

Самое важное, что маленький тщедушный Картомастный, похожий на сонного пескаря, силой каких-то чар выгонял из гостиниц всех посетителей — генералов, купцов, дворян; что за Картомастным от Варшавы до Ломжи и еще дальше, до самой немецкой границы, шли музыканты в три ряда и играли так громко, что помещики выходили встречать его в новых жупанах, с серебряными блюдами в руках, а паненки целовали его, как они хотел.

Кержак (раскольник) из Томской губернии, черный и тусклый, как заваливавшаяся древняя икона, рассказывал о каком-то ските златоглавом, за лесами Нарымскими, за болотами, где в омутах не вода, а стоят острые глубокие тени. И в тех скитах ходят белые старцы под деревьями. Каждому дереву тысяча лет и каждому старцу тысяча с годом.

Еврей Прончик, — бежавший из пересыльной тюрьмы, — читал письма от брата из Америки, которые он сам писал на обрывках бумаги, подобранных в палатке инженера. Брат звал его к себе в Нью-Йорк, «где человек с хорошей фантазией в один день может заработать столько денег, что их ни один банк не возьмет на хранение».

Все отлично знали, что рассказчики лгут; что не было ни скита с тысячелетними старцами, ни золотой горы; знали, что Прончик сам пишет письма из Америки. Даже поощряли рассказчиков возгласами:

— А ну ври! ври еще! — Но слушали внимательно, сосредоточенно и сердились, когда кто-нибудь смеялся над Кержаком, Лямкой или поляком, уличая их в том, что они каждую ночь рассказывают свою историю по-новому.

Отвратительная, подлая и жестокая правда, вся в грязи, крови и слезах, была им ненавистна, и когда они возвращались к своей настоящей повести, в которую каждый вставлял кусок, как в одну цельную стену, и все куски были скреплены общим цементом, рабочим казалось, что их жизнь так же никому не нужна, так же плутает и без толку тянется в дремучей постылой тайге, как та белая дорога, которую они протащили неизвестно зачем через болота, овраги, безвестные реки и горбатые холмы.

Фомичеву Сиганов не понравился.

— Хулиган какой-то, — говорил он Глебову.

— Надо сказать китайцу, чтобы он за ним присматривал. Ни на одного человека положиться нельзя! Удивительно, куда девался добрый, незлобивый русский мужик... Гордости нет, воли нет! Пропало уважение ко всему, что выше. Вы думаете, они меня и вас уважают. — Ни в грош не ставят! Я ценю в человеке упорство в труде, внутреннюю

дисциплину, но в нашей шайке ничего этого нет! Гнилые души!

Глебов с широким калмыцким лицом, тяжелый и медлительный, постучал толстыми пальцами по столу и молчал.

— Вы согласны со мной? — спросил Фомичев, закури-
вая папиросу.

— Ну, как сказать?.. Доход-то от этих гнилых душ мож-
но получать хороший.

— Это другое дело!

— И ничуть не другое. У нас по ведомости их сто трид-
цать, а налицо и ста не найдется. А прогульные дни, а штра-
фы? С другими, пожалуй, было бы труднее.

— Вы не хотите меня понять! Я смотрю с общей точки
зрения. Говорю о том, что у них в душе искры нет, а вы о
штрафах, прогульных днях. Не тычьте мне этим! Я отлич-
но знаю, что получаю за счет этого сброда. Но дело в том,
что мы с вами стоим на той высоте развития, где каждый
человек сам себе судья. Когда вы мне предложили полу-
чать за прогульные дни и за этих несуществующих рабо-
чих, я спросил себя: Василий Фомичев, имеешь ли ты пра-
во взять эти деньги? Спросил прямо, честно, перед лицом
моей правды, до которой никому нет дела.

Глебов налил пива в тяжелую стеклянную кружку и
ответил с едва заметной усмешкой:

— Охота вам! По-моему проще, — взял, расписал, в кар-
ман положил и дело с концом! К чему тут метафизика, со-
зерцание и самоуглубление?

— Тяжелый вы человек, Глебов! — сердито сказал Фо-
мичев. — Вы как-то уж очень просто смотрите на вещи.

— Что делать? Но позвольте сказать, что я не вижу не-
обходимости притягивать к нашему маленькому делу фило-
софию и подводить под него теоретический фундамент. Важ-
нее, чтобы этот желтый идиот Син-Чао расписался в по-
лучении денег за тридцать рабочих, и контроль не прид-
рался. Остальное — никому не нужная мелодекламация!

Как всегда после таких разговоров, Фомичев почувст-
вовал злобное раздражение против Глебова, ушел из палат-
ки и лег на ковре под кедрами.

— Вставайте... Да проснитесь, Василий Федорович! Несчастье!..

Тающие обрывки снов путались в зелени деревьев, круглыми островами плававшими в голубом небе, и Фомичев удивленно смотрел на склонившееся над ним встревоженное лицо Глебова и на десятника Прокофия.

— Что такое?

— Да там, на новой просеке... Черт их побери! Сто раз вам говорил! — закричал Глебов, обращаясь к Прокофию. Тот поднял руку, в которой держал испачканную в глине шапку, и сказал певучим голосом:

— Вот как перед истинным... Не видел! Прибежал, а они горланят, все разом... И не поймешь.

— Да что такое?

— Подрубленная сосна упала, двух придавила!..

Фомичев с облегчением вздохнул и встал.

— Вашего этого нового, рыжего хулигана — Сиганова и бродягу Гудка.

— Растормошило их вконец, — сказал Прокофий, почти-тельно идя сзади инженеров. — Думали, на болото упадет, а она, проклятая, хрустнула, как зубами щелкнула, и на просеку легла.

Высокая трава была пронизана потоками света, весело шумели деревья, медленно и важно наклоняя свои тяжелые вершины под напором теплого ветра.

Рабочие молча стояли над обрушенным зеленым великаном, высоко вскинувшим ветви, между которыми толклись столбы комаров.

— Уберите сосну, — хмуро приказал Фомичев. — Нечего тут всем стоять!

— Тяни дорогу! Тяни дорогу! — кричал Прокофий, всеми силами стараясь показать свое усердие, так как чувствовал себя виноватым перед инженерами и перед теми двумя, которые лежали под зеленой взлохмаченной горой.

Рабочие лениво разошлись по местам, очистили просеку, засыпали хвоей и мохом большое красное пятно; и шаг за шагом потянули дорогу в глубь пустого неведомого леса.

МЕЖДУ МОРЕМ И ЗЕМЛЕЙ

I

От моря никуда нельзя было уйти! — К нему падали горы, по желтым и серым склонам бежали сухие тропинки и дороги; спускались потоки зелени и цветов, неслись, обгоняя друг друга, ручьи с прозрачной горной водой. Они с грохотом летели в узких горных щелях, разбиваясь в белую пыль, прятались в траве под кипарисами, длинными стеклянными нитями свешивались с обомшелых камней над зелеными прудами и, дойдя до берега, по белым теплым камням бросались в широкое море.

У того, кто сидел на берегу, рядом с полосой белого прибоя, море отнимало волю и уносило в страну грез и снов, которая всегда лежит на далеком берегу, скрытая туманом.

В маленьком белом городишке было много людей, очарованных морем, попавших в его безраздельную власть. В знойные дни, когда солнце золотой краской писало на зеленой поверхности воды гигантские иероглифы и белая полоса прибоя слепила глаза, они сидели у берега, на крутых склонах холмов, поросших сухой жесткой травой, на обломках камней и по целым часам смотрели, как лениво расплескивают волны растворенный в них солнечный свет.

Они сливались с морем, как уносившиеся над ним облака, чайки, далекие белые паруса, утонувшие в нем широкие зеленоватые камни, через которые хлестала вода. За всех думало море, и очарованные им люди старались угадать его напряженную мысль в шумливых раскатах пологих волн, бегущих к их ногам.

В лунные ночи горы, кипарисы и город уходили в зеленую прозрачную глубину. Нельзя было сказать, где кончается море и начинается земля. Тогда люди бродили по переплетающимся тропинкам, смотрели на золотые мосты, зыблущиеся в упругих волнах, и весь мир казался замороженным сказочными вымыслами, идущими из глубины

воды. Но истинными праздником для всех тех, кто испытывал эту непонятную власть моря, были дни, когда приходили бури и прибой бросался через скалы.

На берегу все те же краски, желто-белые и серые скалы, темная зелень кипарисов, пестрые каскады цветов, хрустальная грань ручья рядом с пыльным белым шоссе, но море нельзя было узнать. Волны, растворив тот мрак, который всегда таится в его глубине, с ревом и воем, в кружащихся водоворотах, несли его к земле. Мечта становилась грозной силой. Ленивые и певучие волны, отражавшие небо и сливавшиеся с небом, вдруг превращались в несокрушимую рать седых бойцов и без отдыха шли на приступ угрюмого берега.

Сидевшие на берегу всеми силами желали ему победы и жадно следили за каждым движением высокой волны, дальше других катившейся по берегу. Если не сегодня, то когда-нибудь, через тысячу или через миллион лет, море победит! Наступит день, когда сны и грезы, рожденные в серебристых туманах, станут сильнее каменных массивов и похоронят их в своей прозрачной глубине.

Андрей лежал на плоском горячем камне, обмытом высокими волнами прибоя, и напряженно всматривался в таинственную упругую глубину. Скала поднималась на границе двух миров. — Один, пыльный и скучный, был виден с ее вершины. — Широкая лента шоссе, по которому в облаке пыли проехал почтовый автомобиль, купальни, в полосе прибоя, прохожие на зеленые ящики, выброшенные морем кипарисы и за ними крыши домов, купол мечети, виноградники по уступам гор.

В жидкой тени под кипарисами сидел Осман и перебирал апельсины в корзинах, с которыми он по целым дням шатался вдоль полосы прибоя, где некому было покупать его товара. Внизу скала уходила в другую, близкую и страшно далекую страну. Море спало, видело яркие сны и все они бесконечной вереницей плыли под нависшими черно-зелеными камнями.

— Смотрите, вот его большие, зеленые глаза! Вон там, около камня, где прибой!

Осман поставил свои корзины на камни, осторожно спустился туда, где лежал Андрей. Далеко внизу, под стремительным белым скатом, дышало море.

Солнце слепило Осману глаза. Он видел только горы самоцветных камней, мерно, с тихим шуршанием надвигавшихся на горячий берег.

— У меня плохие глаза, но если ты его видишь, он там! Когда я был контрабандистом и ходил на фелюге из Турции в Ялту, то видел в море змею и около нее был прибой и шум, как под этими скалами. Кто знает, что есть в море!

Налетел порыв ветра, самоцветные груды камней под скалой потускнели, превратились в осколки стекла, взгромозились в гору и в пыль разбились о каменную стену.

Андрей сел и, охватив тонкими руками колени, смотрел на Османа.

— А теперь вы не возите контрабанды?

Осман улыбнулся, его коричневое, сморщенное, как у обезьяны, лицо и черные живые глаза казались Андрею необыкновенно красивыми.

— Нет! трудно стало. Я уже старик. Контрабандисту надо иметь хорошие глаза и крепкие руки. Я раз ночью нес по скалам мешок с табаком и оборвался в море, летел больше десяти сажень и сломал себе руку. Если хочешь увидеть настоящего контрабандиста, приходи завтра вечером в турецкую кофейню сзади мечети. Там будет Али, лучший контрабандист на всем берегу от Керчи до Балаклавы. Смело ходит. Солдаты его давно стерегут, но поймать его нельзя!

— Почему?

— Он в скалы уходит. Постучит по камням, скажет, что надо, и гора открывается, как двери в мечети.

— Таких слов нет! — сказал Андрей, — это сказки.

— Зачем я буду рассказывать сказки? Ты читал много книг, но в книгах пишут не всю правду. Была как-то темная ночь, буря. Вода поднималась выше кипарисов. Мы с Али везли в лодке турецкие ковры. Дорогой товар, жалко было! Смотрю, идем прямо на скалы около Симеиза, и когда волны нас бросили на берег, открылись камни, как устрицы, и наша лодка пошла в середине горы.

Осман взял в руки по корзине с крупными красно-желтыми апельсинами и пошел со скалы. На берегу он еще раз обернулся и сказал:

— Приходи вечером! Увидишь Али.

Андрей опять лег на горячий, обмытый морем камень, прислушивался к всплескам воды и сквозь дремоту видел свою гимназию. Тусклые, пыльные окна. К ним прильнули и смотрят, заслоняя свет, чьи-то злые, зеленые глаза. В сером воздухе мерно колышутся ветви деревьев в гимназическом саду. Нет, это не ветви, а длинные цупальца гигантского спрута! Они тянутся в двери и окна пятого класса, шурша двигаются по истертому полу. Через узкое окошечко в двери, как всегда, поглядывает инспектор Мокрица. На кафедре сидит учитель немецкого языка и не замечает отвратительного гада, его злых, мертвенных глаз. И вдруг нет ни гимназии, ни инспектора!

Кругом опять лежит зеркало воды, окаймленное кружевом прибоя, и в него глубоко, неотрывно смотрит небо. В тени под деревьями дождем сыплются мелкие белые бабочки. Немного болит рана на груди, но это пустяки! Еще осталось две перевязки. Где это льется вода? Ах, это зал, где делали операцию. Андрей слышит шепот.

— Еще не спит, подождите! Пуля только скользнула.

В зале зеленый свет и от окон тянутся широкие, ослепительные лучи весеннего солнца. Над столом низко наклоняется профессор. Старческое, дряблое лицо, как у няньки Анисьи, на лоб свесились седеющие волосы.

— Зачем вы это сделали, молодой человек? Но теперь не бойтесь, будете жить. Нельзя вылечить того, у кого нет воли и желания жить.

Славный профессор!

А где записка? Да вот она, в комоде у матери! Портрет, снятый еще тогда, когда Андрей учился ходить, и листок, вырванный из записной книжки: «Товарищ». На нем крупным, разгонистым почерком написано: «Умираю, потому что всем чужой и никто мне не верит. Прощайте. Альбом с марками отдайте Сереже».

— Андрей, где ты? — зовет мать откуда-то из-за кипарисов.

— И чего она вечно боится!

— О, Господи! я тебя уже час ищу, не уходи надолго.

— Я тут с Османом сидел! Представь, мама, он контрабандист и Али контрабандист. А здесь под скалой живет осьминог.

— Ах, Андрей, всегда у тебя фантазия! — И, как старый профессор, мать, оправляя волосы сына, убежденно говорит:

— Жить надо. Любить жизнь надо!

— Я хочу жить, — усталым голосом отвечает Андрей. — Не бойся, хочу! Вечером я пойду в кофейню, увижу Али. Он говорит, будто умеет проходить через скалы.

— Но разве можно верить такому вздору? Я сейчас получила телеграмму от Васи. Он придет завтра.

— Я его не люблю, — сказал Андрей.

— Как же можно не любить брата? Пойдем. И, пожалуйста, меньше сиди с этими твоими грязными турками!

Мать и сын пошли к берегу. Она еще сильная и бодрая, со здоровым загаром на красивом теле, на которое жадно смотрели мужчины. Он весь, как вечерняя тень, с испуганным взглядом под тонкими бровями, похожий на подстреленную птицу, что с жалобным криком носится между небом и землей.

II

Василий приехал утром. С моря к горам лениво ползли облака, сверкающие, как серебряная парча на ризах. Андрею казалось, что по крутым склонам идет крестный ход, блестят золоченые кресты, поднимаются клубы синеватого ладана и, сливаясь с гулом моря, поет невидимый хор.

Василий, высокий и плечистый, в расстегнутой студенческой тужурке, под которой видна была массивная золотая цепочка с жетоном «чемпиону борьбы от кружка любии-

телей спорта», подошел сзади к Андрею, большими потными руками поднял его и поставил на стул.

— Ого, потяжелел! Поправляешься. А это что? — Василий указал на мольберт, где стояла недоконченная картина.

— Ха, ха, ха! Каменный гость в крымских скалах. Куда же взбирается этот истукан? Я его сейчас одену в приличное платье! — Василий схватил кисть.

— Не смей трогать. Это камень-монах! Он здесь стоит на берегу.

Но студент не слушал и несколькими ударами кисти превратил монаха в пьяного забулдыгу с сдвинутым набекрень цилиндром, с сигарой во рту.

— Ты... Ты глупое животное! — крикнул ему Андрей.

— Ну послушай, дорогой мой, — примирительно сказал студент, — нельзя жить в мире фантазий. Особенно вредно это тебе. Занимайся гимнастикой, ешь, гуляй! но, ради Бога, выбрось из головы всю эту возмутительную чепуху.

Через минуту голос и смех Василия, громкий и раскатистый, гремел в саду, на узкой кособокой улице, залитой нестерпимым блеском солнца, под каменной стеной, с которой падал бурный поток светло-синих глициний.

— Представь себе, Андрей тут свел знакомство с какими-то контрабандистами, — говорила мать, и в голосе ее слышалась та особенная нежность и гордость, с которой она всегда обращалась к старшему сыну.

— Контрабандисты! — кричал Василий. — Я им покажу, как набивать мальчишке голову вздором! Да и нет здесь никаких контрабандистов. Просто проходимцы, обирающие приезжих.

— Нет, есть! Есть! — закричал Андрей в окно, раздвигая темно-зеленую завесу плюща. — Все есть! И каменный монах, который ночью ходит на скалу, и осьминог с зелеными глазами, и контрабандисты. Все есть, а тебя нет!..

Студент с удивлением посмотрел на брата. Подошел к зеленой стене, молча, напрягая мускулы на согнутой руке, и сказал:

— Ну-ка, пощупай бицепсы! Я тебе покажу работу с ги-рями и тогда ты увидишь, существую я или нет. А эти все твои бредни я прикончу без остатка.

Спустился вечер, горы подернулись золотом и синью, море раздвинулось еще шире, скалы стояли, как черные корабли. Андрей тихо побрел к мечети, за которой на плоской белой крыше сидели Осман и какой-то молодой турок.

— Али! — шепотом сказал Осман. — Садись, разговаривать будем. — Али с улыбкой смотрел на Андрея и маленькими глотками пил ароматный кофе.

— Осман говорил, что вы умеете уходить в скалы. Как вы это делаете?

— Много говорят! — уклончиво ответил Али. — Я могу оставаться под водой пять минут, могу плавать как рыба и ночью вести лодку в бурунах. Я не умею ни читать, ни писать, но голос моря и голоса птиц знаю хорошо.

Говорили медленно и так же медленно шла южная ночь, сияя синими неземными огнями. Высоко над деревьями по горам ходил кто-то огромный, выше Ай-Петри и махал темным плащом. И там меркли и вновь загорались звезды.

— Али, покажи твой талисман! — сказал хозяин кофейни.

Контрабандист молча опустил руку в карман, достал кисет с табаком, складной нож и обточенный волнами зеленый камень.

— Вот!.. — Турки наклонялись над столом и с почтительным вниманием смотрели на камень.

— У кого есть такой талисман, — сказал Али, — тот никогда не утонет. Когда разбилась фелюга Ибрагима, его восемь дней носило по морю, потому что у него был этот самый камень. Ибрагим умер от голода и его тело прибило к берегу около Симеиза.

— Покажите-ка мне эту штуку! — слышался сзади громкий, насмешливый голос. И Василий с сдвинутой на затылок фуражкой, постукивая толстой кизиловой палкой, остановился около стола.

— Самый обыкновенный кусок полевого шпата! Будет вам набивать голову мальчика разными глупостями!

— Тут нет глупостей, — серьезно и враждебно ответил Али.

— Ну хорошо, бери этот свой камень и я тебя спущу вон с той скалы в море. Если ты до утра проплаваешь, я проигрываю... ну, какое хочешь пари? Только на берег я тебя не пущу!

Али молчал.

— Боишься холодной воды? То-то. Пойдем, Андрей.

— Я не пойду с тобой.

— Мать ждет, я не позволю тебе остаться в этой компании. Ей, Осман, смотри! О тебя, когда ты был проводником, уже одну палку сломали, руку перебили. Ну, так я тебе и другую перебую, если ты будешь за Андреем шататься!

И, взяв брата, студент быстро пошел по крутой тропинке, огибавшей угол широкой мечети.

— Он со скалы упал! — сказал Андрей. — Зачем ты говоришь глупости, будто его побили?

— Спроси у кого угодно! Муж одной барыни побил. А этот Али в гостинице «Франция» комиссионером служил.

— Комиссионером? — почти с ужасом спросил Андрей.

— Ну да. Продувной народ! Дрянь!

Было скучно, глухо и пусто. Где-то в чаще кричала ночная птица и грузно ворочалось под скалами бескрасочное море.

III

Андрей встал поздно. Рана болела и в груди было такое ощущение, как будто что-то вынули. Скучно скользило солнце по усыпанным гравием дорожкам, тускло блестело в волнах.

Осман ходил между дачами и кричал.

— Фрукты! свежие фрукты!

Его позвал Василий.

— Ей, ты, крымское чучело! иди сюда. Давай четыре фунта груш, только не обманывай.

— Зачем обманывать? — заискивающим голосом говорил Осман. — Хорошим господам отборный товар носить буду.

Господи, как скучно! Куда бы пойти? Андрей прижал руку к больной груди и, стараясь не встретиться с братом, пошел на свое любимое место к плоскому камню, где сидел вчера.

Так это значит, все неправда! Талисман — кусок полевого шпата... Каменный монах — глыба известняка! Пустое море. Пустая земля. Ну, а небо?

Андрей посмотрел на небо. И там тоже нет ничего, кроме пустоты, холода, мрака и туманов, которые то ползут с гор, то поднимаются высоко над морем. Есть только Василий, инспектор Мокрица, гимназия. Ах, какая тоска!

Али комиссионер! Вот, должно быть, смеялись они надо мной. Какая пыль на кипарисах, точно люстры в чехлах!

Андрей спустился к морю и строгими глазами впился в зеленую гладь. Под скалой бежали круги, тянулись жемчужные нити пены.

Ну вот же, вот они, зеленые глаза! Как никто не видит! Вот и щупальца, длинные, как корни сосны.

Андрей придвинулся ближе, с трудом удерживаясь за шероховатый камень и вглядываясь в то чудесное, непонятное, в тот сказочный недостижимый мир, который скрывало море в своей глубине. И вдруг рука, сжимавшая камни, разжалась и тело мальчика по крутой мокрой скале скользнуло к воде. Волны расступились мягко и ласково, на мгновение над водой показалась худая, бледная рука, потом зеленая гладь сомкнулась и с баюкивающим плеском закружилась под тупыми камнями. За стеной кипарисов послышался тревожный голос:

— Андрей! Андрей, где ты?!

ВЕЛИКАЯ ПУСТЫНЯ, ГДЕ МЫ ВСЕ

I

Мы встречались каждый день вечером в глухом углу кладбища, между двумя могилами, на которых не успела еще вырасти трава. В одной был похоронен ее муж, в другой мой брат.

В сумерки, среди немых камней, печально склоненных крестов, наполовину разрушенных склепов, заросших сорной травой, мы ждали чуда, напряженно и мучительно, словно перед нами расстился не кусок мокрого пустыря на окраине большого города, рядом с аэродромом и артиллерийским учебным полем, а древняя страна чудес с желто-серыми скалами, масличными рощами, пещерами и белой раскаленной солнцем дорогой из Иерихона в Иерусалим.

Мы не решались говорить друг с другом о своих безумных надеждах и притворялись, что заняты уходом за могилами и своей печалью, разумной и примиряющей со смертью, как сумерки примиряют день с ночью.

Я стоял против низкого белого креста, под высокой уродливой березой. Ветер и топор кладбищенских сторожей, расчищавших места для новых могил, придали дереву такой вид, как будто оно хотело бежать, но, задержанное корнями, далеко ушедшими в глубь земли, в ужасе остановилось, простирая к небу черные, искривленные ветви с дрожащими осыпающимися листьями. На моем кресте не было никакой надписи и только внизу, под веткой куста шиповника, я вырезал слова «может быть»...

На ее могиле лежала груда венков. Она приходила раньше меня, садилась на камень, отвалившийся от соседнего склепа, и остановившимся неподвижным взглядом смотрела на высокую кучу рыжей свеженарытой земли, под которой в белом глазетовом гробу лежал ее муж или то, что было ее мужем.

Сторожа в грязных рубахах и сапогах, на которые налипли комья грязи, старик-священник в истрепанной полинявшей ризе, весь день служивший панихиды, с опущенными глазами проходили мимо нас. Они, должно быть, знали или догадывались, чего мы хотели, и из сострадания не желали нас замечать.

— У вас лучшее место, — сказала она как-то, поднимая на меня влажные от слез серые глаза и улыбаясь жалкой, печальной улыбкой.

— Да, у меня хорошее место! Сухой песок, что так редко на этом мокром кладбище, и потом береза. Все-таки она соединяет меня...

Я не закончил и отвернулся, чтобы скрыть слезы. Она плакала беззвучно, опустив голову к камням и перебирая маленькой рукой цветы и комки влажной глины.

— Послушайте, неужели он никогда, никогда не вернется?

— Я верю, что дух бессмертен. Было бы слишком жестоко и нелепо, если бы в могиле исчезало все. Понимаете ли, все!

— Но что же остается? — спросила она с таким отчаянием, что я на минуту позабыл о своем горе.

— Наш дух часть того великого духа, который проникает всю вселенную: звезды, солнце, вот эту траву, камни и неизвестные миры, сливающиеся в белые полосы и пятна на ночном небе.

Я говорил неуверенно, пугаясь, что моя слабая надежда потухнет, как лампада, задуваемая холодным ветром.

— Бесчисленные солнца кружатся, как брызги прибоя; каждая волна идет миллионы миллионов лет и таких волн так же много, как на берегу океана.

— Ну? — спросила она, утомленная моим красноречием, и наклонилась, расправляя ленту на увядшем венке.

— Наш дух сольется с этой вечной душой мира, — продолжал я, — как капля дождя возвращается к океану. В это я верю!

Мне самому казалось, что слова мои звучат жалко, фальшиво и неубедительно. Рядом с этим безграничным горем

и безграничной печалью, склоненной над свежей могилой, мое верование стоило не дороже глазета, дыма ладана и венков с фарфоровыми цветами. И от того, что это было так, я почувствовал злобу к себе и к этой маленькой женщине, мысли и чувства которой не отходили от трупа, разлагавшегося в мокрой земле.

— Но где же будет он? — спросила она, как капризный ребенок, не обращая внимания на мои утешения.

— Мне не надо океана, мирового духа, не надо этого прибоя, продолжающегося, как вы говорите, миллионы лет, я хочу видеть и слышать его таким, как он был! Понимаете, его?

Она жадно смотрела мне в лицо широко раскрытыми глазами. Вернее, она смотрела через меня, куда-то вдаль, точно ждала чьего-то призыва.

— Может быть, они нас слышат?

— Я не знаю, ничего не знаю! Вот здесь лежит тело человека, который был моим другом с первых дней детства. Замученный лишениями и страданиями, сошедший в могилу в тот момент, когда я получил возможность поднять его. Я уже держал его за руку, он оборвался и ушел. Ушел навсегда!

Теперь я не стыдился своих слез и говорил, не обращая внимания на то, что голос мой прерывали рыдания. Но она едва замечала меня. Для нее я значил так же мало, как уродливая береза, далекая ограда кладбища, за которой на полигоне бухали пушки, косые тени, стоявшей под окнами, белой церкви с окнами в узорчатых, железных решетках.

— Вы верите в переселение душ? — глухо спросила она.

— Может быть, хотя меня пугает это учение почти так же, как смерть без надежды на воскресение. По этому учению, душа человека может переселиться в тело животного... Нет, могила лучше!

— Могила, — повторила она тихо и внятно, как будто заучивая новое для нее слово.

Мы оба подняли глаза и стали следить за вороном, который каркал на вершине березы. У меня, как и у нее, мельк-

нула безумная мысль.

Представляли вы себе когда-нибудь медленное разложение тела, недавно еще крепкого и здорового, тела, которое вы любили? И что, если последние проблески сознания, отсветы мысли и чувства, все еще остаются в трупe, как таится жизнь в дереве, поваленном бурей?

Холод могилы и свет сознания!

Я много раз ночью переживал мгновения этого ужаса, сиюсь представить себе в могиле брата, как мы это делаем при жизни любимых людей, ставя себя на их место.

Нет, лучше ворон или что-нибудь живое под лучами солнца!

Поднялся синий туман, выполз из могил и тяжело заволакивал кладбище, гнилые кресты, скользкие, заплесневевшие доски, траву, ржавое железо склепов, камни над черными ямами. Ворон снялся с дерева и разом исчез в широко распахнутой расцвеченной зарею дали.

Сторож, стуча тупой лопатой, шел по мосткам и, завидя нас, остановился.

— Пора! — сказал он, — запираем.

И, минуту подумав, добавил сердито:

— Ничего сегодня не будет!

Пробираясь по тропинке между могилами, мы слышали, как он бормотал:

— И чего тут сидят, сидят! Покойник слышит разговоры, ему еще хуже. Дайте лежать тихо, земля их и съест поменьку. Из могилы не уйдешь!

Мы дошли до церкви и, когда звякнуло железное кольцо на калитке, женщина вдруг остановилась. Волосы ее выбились из-под шляпки, бледное лицо стало еще бледнее в свете фонаря, освещавшего за оградой пустынную улицу.

— Пойдите! я забыла... — сказала она.

— Пойдемте!

— Нет! еще вот это. — Я увидел в ее руке половину большой груши.

— Неделю тому назад, только неделю! — Она припала к гранитному памятнику и заплакала.

Я видел ее вздрагивающие плечи, белую шею, завиток мягких волос над черным воротничком.

— Он принес эту грушу и хотел съесть половину... Вот это его. — Она вытерла слезы зажатым в комок платком и, как ребенок, упрямо сказала:

— Я пойду, оставляю там на могиле!

— Постойте. Нельзя же так...

Я искал слов, которые терялись в этом холодном мраке, где исчезала всякая человеческая логика. Но она уже не слушала и мелкой быстрой походкой, совершенно не походившей на ее тяжелые утомленные движения, когда мы шли с кладбища, исчезла среди крестов.

Вся ее мысль, то, что называют бессмертным духом, было около могилы и не могло от нее оторваться. Невидимые нити женского духа обвили труп, как тончайшие корни дерева оплетают комки земли.

— Но и пусть! — сказал я со злобой к Тому, Кто молчал, когда мы ждали чуда, и так распахнул железную калитку, что она дребезжа и звеня ударилась о каменную стену.

— Пусть! Я ничего не жду и мне ничего не надо!

II

Прошла осень. На кладбище я не ездил, потому что притворялся занятым важными делами, а по вечерам сидел в ресторанах, выбирая такие углы зала, где было больше света и движения.

У себя в квартире ночью я зажигал все лампы и большую люстру, свет которой отражался в зеркале против кровати. Я работал, как актер среди размалеванных декораций, но мучительно сознавал, что где-то рядом безграничная, холодная пустыня, невидимая бездна, куда я свалюсь и буду лежать в сизокрылой тени берез, под грудой свеженакрытой рыжей земли. Может быть, в этом новом сюртуке, наглухо застегнутом на все пуговицы. Рука, моя рука! которая держит сейчас хрустальный стакан, будет гнить мед-

ленно и долго, долго и медленно! Иногда я осторожно смотрел на лица, окружающих меня мужчин и женщин, притворявшихся, как и я, бессмертными, чтобы угадать, какие лица будут у них тогда.

Смерть — великий художник! Еще за несколько часов до конца она, неслышная и невидимая, садится на постель и принимается за работу. Спокойно и не торопясь, кладет она тени около глаз, на висках; заботливо разглаживает морщины на лбу, заостряет подбородок и заставляет улыбнуться особенной, своей улыбкой, которая то едва заметна в углах рта и линиях около носа, то поднимает губы так, что мертвое лицо смеется печально и важно или злобно и горестно. Глаза чаще всего остаются полуоткрытыми. Из-под опущенных ресниц мертвый может видеть свои скрещенные на груди руки и дорогие лица, наклоняющиеся к этим рукам для последнего, долгого, мучительного поцелуя.

Меня так занимала эта работа смерти, что я часто оказывался в обществе мертвых. Они сидели вокруг меня в театрах, в газовых белых платьях кружились на сцене, болтали за мраморными столиками в ресторанах, пили и смеялись в то время, когда я представлял себе, как они, важные и неподвижные, с странными улыбками будут лежать в своих блестящих глазетовых гробах, в черной пасти могил, среди зеленых ветвей, набросанных по краям, чтобы скрыть грязную землю.

Выпал уже первый снег, когда я встретил ту молодую женщину, с которой познакомился на кладбище. Она сняла траурное платье, но в ее прелестном лице, глубоких глазах было по-прежнему выражение печали и ужаса.

Мы встретились на набережной. В черной воде дрожала огненная лента фонарей и, кружась,плыли первые льдины.

Она сама подошла ко мне.

— Почему вы перестали бывать на кладбище? Я хотела увидеть вас еще летом, — спросила она.

— А вы все еще верите в чудеса?

— Я теперь знаю! — сказала она, загадочно улыбаясь. — И хочу, чтобы знали вы, но это так тяжело!.. — В ее глазах мелькнуло выражение безграничного отчаяния.

— Я тоже знаю! — ответил я, стараясь улыбнуться.

Есть река, вот эта чугунная решетка, туман и лед. Есть только тот мир, который я вижу. Другого мне не надо! Я взял ее за руку. Мне захотелось разбудить ее от тяжелого сна, вернуть к жизни.

— Нет! — оказала она, отнимая руку. — Все это только призрак. Они ведь возвращаются.

— Кто?

— Мертвые, — ответила молодая женщина, испуганно смотря в открытый перед нами немой и печальный мрак над холодной рекой.

Я придержал рукой шляпу, которую чуть не сорвал порыв ветра, и ответил с раздражением:

— Забудьте об этом! Надо жить среди живых. Смотрите на меня! Я вылечился от той болезни, которая вас и меня захватила около могил: мы были неосторожны и слишком близко заглянули в их мрачную глубину.

— Поздно, — глухо сказала она, отворачиваясь. — Приходите ко мне и вы увидите... — Она сказала адрес и торопливо, не прощаясь, ушла.

Я хотел отказаться. Какое мне дело до безумия этой несчастной, которая не находит силы освободить себя от власти мертвого! Я ненавидел ее мужа, потому что, может быть, это он оттуда держал в своих оцепеневших руках молодую жизнь.

— Не пойду! — говорил я себе вечером, когда сидел в ярко освещенной спальне.

Но на другой день звонил у дверей ее квартиры, готовый к борьбе и сам пугаясь этой борьбы.

Она сама отворила мне дверь в темный коридор, заставленный шкафами, и молча проводила меня в большую комнату, не то гостиную, не то столовую, среди которой на длинном столе горели в бронзовых подсвечниках две свечи.

— Здесь? — спросил я, точно между нами было что-то условлено, разглядывая темные углы.

— Здесь, — ответила она тихо. — Он не любит сильного света.

— Он? Кто же это он? — спросил я, бросая на стол перчатки.

— Мой муж!

— Вы хотите, чтобы я его увидел? — сказал я, не замечая нелепости моего вопроса.

Она села, закрыла лицо руками и заплакала, как плачут дети. На ее пальцах сверкали слезы или брильянты на кольцах.

В соседней комнате послышался глухой шум, точно что-то упало на ковер.

— Это он! — сказала она, вытирая слезы. — Видите, я сегодня надела синее платье. Он любил синий цвет.

И вдруг я услышал, как кто-то осторожно отворяет дверь за моей спиной, закрытую тяжелой портьерой.

— Что это? — спросил я, чувствуя приближение ужаса и вставая с дивана. — Говорите же, зачем вы меня звали сюда?

Мне стыдно было моего страха и того, что я не умел его скрыть.

Она в свою очередь встала, заговорила быстро, бессвязно, стараясь уловить руководящую нить в том мрачном бесконечном лабиринте, в котором блуждала ее душа.

— Я любила слишком сильно. У меня не было другой жизни, кроме его жизни. Когда это случилось так внезапно и так странно, я задышалась, как в могиле, и все ждала. Мне не нужно было воскресения через тысячи лет, новой какой-то жизни в царстве бесплотных теней, потерявших все земное. Я хотела его близости, теперь, здесь! но он не приходил. Только там на кладбище, над могилой, мне казалось иногда, что он меня слышит и зовет так же, как я его звала. Может быть, мои страдания не давали ему уйти навсегда, он блуждал где-то вокруг меня. Я это чувствовала и несколько раз хотела уйти к нему. На кладбище я носила с собой яд, но ведь тогда бы и меня не было, вот такой, какой вы меня видите. Я заблудилась среди могил, в синих тенях, в вечных сумерках. И поверите ли, он меня

утешал. Я слышала его голос. Он был во всем и нигде! Вы никогда не обращали внимания, как странно качались и вздрагивали на кладбище ветви деревьев? Рядом со мной была чья-то другая тень. Не знаю, почему вы ее не видели там, около могилы; и когда я долго, долго смотрела на эту тень, она начинала двигаться. По ее движению можно было угадать, что он то сидит рядом со мной, то встает и ходит около решетки склепа.

Мне было ее жаль до слез и потому я не спорил, не старался ее разуверить.

К чему? Она зашла слишком далеко и никакое солнце не осветит тех сумерек, в которых она жила, тяжелого склепа, в котором безумие дает, может быть, лучше утешение.

— Помните, мы говорили с вами о перевоплощении? Он угадал мое желание. Его нет больше в могиле, нет с Богом, с той мировой душой, о которой вы говорили, — он здесь, со мной! Вот, смотрите! — Она наклонилась к столу, взяла подсвечник и, подняв его над головой, осветила угол большого портрета.

Я с своего места видел только глаза, смотревшие с полотна, в которых была печаль и насмешка.

— Иногда он здесь, в этом портрете, и лицо его постоянно меняется. Сегодня утром он смеялся, когда я налила ему чая и отнесла в кабинет на его стол. Когда я хожу по комнате, он следит за мной взглядом.

Она улыбалась и кивала головой в сторону портрета.

— Но самое странное произошло недавно. Три или четыре дня тому назад. У нас есть большая пальма, с листьев которой стекают большие капли ядовитого сока, похожие на слезы. И вот, когда я плачу, начинает ронять слезы и пальма. Все это так странно. Вы не поймете, но мы плачем вдвоем и листья наклоняются к моему лицу. Вы мне не верите, но в том, что я рассказываю, нет ничего чудесного! Нелепо было бы, если бы все кончилось на этом гнилом кладбище или где-то в пустой вечности, где еще холоднее, чем в могиле.

Я поднял глаза и сказал, стараясь придать своему голосу убедительность и твердость:

— Я вам верю! Все это так просто и понятно. Если дух бессмертен, отчего бы ему не возвращаться, подчиняясь силе любви, как кометы возвращаются к солнцу из бесконечности. Ваша любовь не дала ему исчезнуть. Вот и все!

— У меня в спальне упало и разбилось зеркало на мелкие осколки. Я собрала их в шкатулку и, когда вчера взглянула на эти блестящие куски, то увидела там его лицо. Вот, посмотрите!

Она подвинула ко мне ящик из красного дерева, на дне которого в ясных холодных треугольниках блестело пламя свечей. Медленно отворилась дверь и в комнату вошел большой черный кот. Он легко вскочил на ручку кресла и смотрел на меня злыми желтыми глазами.

— Видите что-нибудь? — спросила она, дотрагиваясь до шкатулки.

В стекле была синеватая холодная пустота, но она упорно с счастливой улыбкой вглядывалась в эту пустоту, перебирала блестящие сверкающие осколки и перестала замечать мое присутствие. Я встал и тихо вышел в темный коридор. Женщина не подняла головы, не сделала ни одного движения, как будто меня не существовало. В кусках стекла эта несчастная искала осуществления своей безумной мечты о вечной любви, о том, чего нет и быть не может на земле! Я не хотел ей мешать.

Не все ли равно, — тупая покорность перед смертью, торжественный обман или безумие? Человеку, чтобы жить, необходимо чем-нибудь заслониться от мрака и ужаса могилы.

Больше я ее не встречал и не желаю встречать! У меня много, очень много своего дела, на заводе, в лаборатории, в институте, где я читаю лекции, но иногда среди грохота и стука машин я отхожу в сторону, туда где меня никто не может видеть, и мне хочется безумно рыдать над собой! К горлу подступают слезы, горькие, отравленные, как сок ядовитой пальмы и ум напрасно ищет ответа на мучительный вопрос, куда уйти из тюрьмы, которая вмещает и солнце, и звезды, и моря и в которой живем мы все, приговоренные!

Примечания

У подножия Саян

Впервые: *Мир приключений*, 1916, № 7. Издательство приносит глубокую благодарность М. Бабакову и С. Никитину за предоставленный скан рассказа.

Куда ворон костей не заносил

Авторский сборник. Впервые: СПб., тип. т-ва «Общественная польза», 1914.

Все произведения публикуется по первоизданиям в сопровождении оригинальных иллюстраций. В текстах исправлены некоторые устаревшие особенности орфографии и пунктуации и очевидные опечатки.

Об авторе

Симон (Семен) Федорович Бельский (настоящая фамилия — Савченко) родился в 1873 (?) г. в станице Воздвиженской Кубанской области. Печататься начал не позднее 1895 г. Жил в Петербурге на Лиговском проспекте. Сотрудничал в «Московских ведомостях», «Бюро русской печати», публиковался в журналах «Нива», «Мир приключений».

Автор книг «Новая земледельческая Россия» (1910), сборников рассказов «Книга о русской жизни» (1909), «Куда ворон костей не заносил» (1914), повести «Под кометой» (1910).

Значительное место в творчестве Бельского занимает фантастика — от научной до мистической. Репертуар его как писателя-фантаста довольно широк: оживающие мертвецы, «затерянные земли» и палеофантастика («У подножия Саян», «Золотая долина»), судьбы древних народов, небывалые изобретения (повести «Между небом и землей» и «Лаборатория великих разрушений»), космические катастрофы и гибель Земли («Под кометой»). Во многих из этих произведений отразился свойственный Бельскому-писателю мрачный и пессимистический взгляд на мир.

Дата смерти С. Ф. Бельского точно не известна, в различных источниках указываются 1917, 1919, 1922 и 1923 гг.

Оглавление

У подножия Саян	7
Куда ворон костей не заносил	
Двое	29
Там, где шумит океан	42
В пустыне под звездами	53
Золотая долина	60
Конец истории солнечного народа	67
Корабль мертвых	76
Особенный вкус страны	83
Немые волны	117
Между морем и землей	156
Великая пустыня, где мы все	165
Примечания	175
Об авторе	176

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.